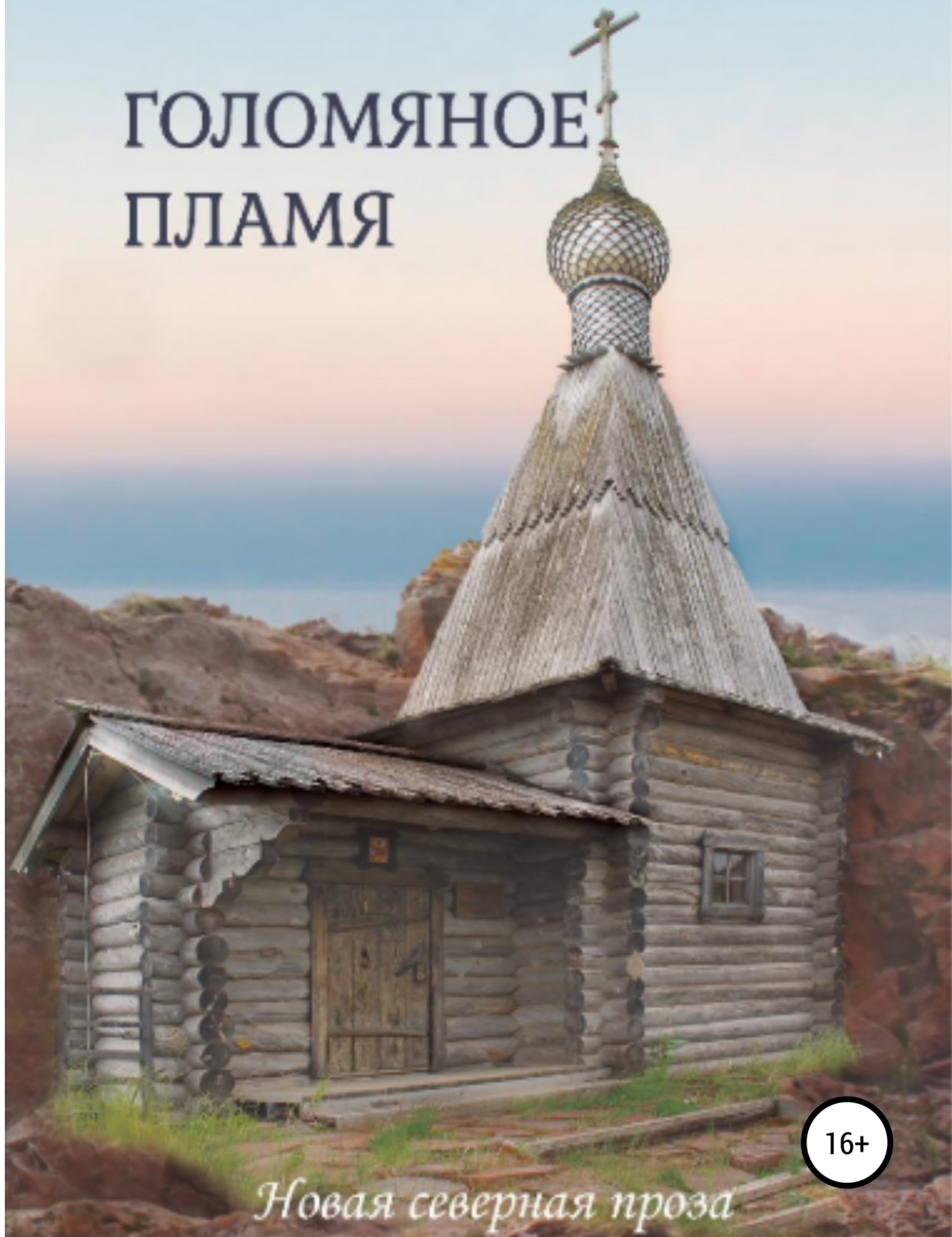


Дмитрий Новиков

ГОЛОМЯНОЕ
ПЛАМЯ



16+

Новая северная проза

Дмитрий Новиков

Голомяное пламя

«ЛитРес: Самиздат»

2017

Новиков Д. Г.

Голомяное пламя / Д. Г. Новиков — «ЛитРес: Самиздат», 2017

Герой романа "Голомяное пламя" отправляется на берега северных озер и Белого моря за настоящим, которое неожиданно оказывается неотделимо от прошлого. На фоне мощной северной природы драма отдельно человека здесь и сейчас начинает казаться ничтожно малой, а трагедия народа - непоправимо большой.

Содержание

1975, п. Пряжа	9
1913, п. Пряжа; 1943, Карельский фронт, Ленинградская область	14
Кондак, глас 3	18
2005, Ловозеро	19
1971, Крым	24
Середина XVI века, с. Кереть, с. Кола	28
1978, п. Пряжа	31
2005, р. Афанасия, р. Поной	34
2003, г. Петрозаводск	37
* * *	38
Конец ознакомительного фрагмента.	39

*Кто бороздит море, вступает в союз со счастьем,
ему принадлежит мир,
и он жнет, не сея, ибо море есть поле надежды
безмянный поморский крест на Груманте*

Среди поколения «новых реалистов», ворвавшихся в литературу на рубеже веков и встреченных громкими приветствиями критиков и читателей, фигура Дмитрия Новикова держится особняком.

«Новые реалисты» пришли как поколение войны, писавшие о взбунтовавшемся Кавказе, о локальных конфликтах, о ломке молодых ветеранов, прямо с войны вернувшихся в лихие девяностые, – Новиков утверждал мирные будни, тишину северного осеннего леса, рыбалку на безмятежных карельских озерах.

«Новые реалисты» пришли как поколение действия: стачек и стычек, порывов и взрывов – Новиков практиковал созерцание, статику, замирание и любование – вот и принесший ему известность сборник рассказов назывался «Муха в янтаре» (2003).

«Новые реалисты» пришли как поколение безудержного автобиографизма; они творили миф о себе – исповедовались и каялись, как Роман Сенчин, либо выстраивали жесткую саморепрезентацию, как Захар Прилепин, – Новиков устранился, отходил в тень, затушевывая авторский образ и предоставляя говорить своим героям...

Должно быть, именно поэтому там, где у Прилепина – экспрессивные «Ботинки, полные горячей водкой», у Новикова – «Муха в янтаре», эмблема замершей, зачарованной жизни; а там, где у Сенчина – безысходная «Зона затопления», у Новикова – «Голомяное пламя». Пламя, как дух Божий восстающее над холодными волнами Белого моря, которое по-карельски так и зовется: голомя.

Нет ничего в мире красивее, чем берег Белого моря. Словно медленный сладкий яд вливается в душу любого, увидевшего это светло-белое небо, эту прозрачную, как из родника, воду. Это серое каменное щелье, покорно подставляющее волнам свое пологое тело и благодарно принимающее лестную ласку воды. Эти громыхающие пляжи, усыпанные сплошь арешником – круглым камнем, который море катает беспрестанно, шутит с ним, играет, и в результате – несмолкаемый ни на минуту грохот, и думаешь невольно – ну и шутки у тебя, батюшко. Эти подводные царства, кольшиющийся рай, пронизанный солнцем, как светлый женский ситец – весенним взглядом. Этот легкий ветер с запахом неземной, водной свежести и отваги, и каждый знает теперь, что такое свежест и отвага. Этот пряный шум соснового леса и удирающий от берега трусливый бурый зверь, кисельно плескающий жирным огузком. Эта радость бескрайней дороги, свободного пути к жизни, к счастью, к смерти...

Нет в мире ничего страшнее, чем берег Белого моря. Бесстыжими пощечинами наотмашь бьет в лицо холодный ветер, несущий злые брызги дряг и неудач. Мутная вода орет в глаза и душу о скором хаосе и бесполезности всего. До горизонта стлань полей из черной вязкой грязи – и, если в няшу ступишь, будет сложно жить. По берегам – кресты, огромные и серые, как напоминание. В лесах – кресты поменьше и поплоче, стыдливо прячущиеся в сырых лощинах. Безлюдье, забвение потомков. Седая мутность илистых одонков. И лишь звук кричит просительно и жалобно, вставая на крыло, – уйди, уйди. Наверно, так кричит ребенок, не знающий еще – чужая злость непоправимой может сделать жизнь.

Нет в мире ничего пограничнее, чем берег Белого моря. Здесь всё рядом, близко, сцеплено неразрывно друг с другом – белое и черное, пьянство и честность, неистовость и покой. Здесь главная русская свобода, обещанием свободы поправная. Здесь смертельная красота. Здесь радость отчаяния. Здесь надежда. Здесь вера. Здесь любовь.

В сущности, новый роман Дмитрия Новикова – о вере и о любви.

Но, как и полагается, эта вера сначала должна быть потеряна, а любовь (Бога к людям, людей к природе, родных и близких – к друг другу... ряд можно продолжить) – поставлена под сомнение.

Это сомнение выражено в самой форме романа, лишённого линейного повествования и рассыпающегося под вспышками флэшбэков – то в предвоенную Кемь, то в дореволюционное село Кереть, то в далекий XVI век схимников и отшельников, то в тучные нулевые, когда потомки карельских рыбаков, охотников, охранников и эсков приезжают рыбачить на заповедные озера. Как будто бы главный герой «Голомяного пламени» – как раз из этих потомков: Гриша, детский реаниматолог, былинный богатырь с рыжей окладистой бородой (в этом портрете, впрочем, угадывается внешность и самого автора)... Но речь здесь не только и даже не столько о Грише, сколько о человеческом пути к себе – сквозь историю, сквозь время, сквозь страшные и болезненные воспоминания. Путь к себе, водный путь – вот то сквозное начало, которое обеспечивает роману единство: и мятущийся Гриша, и его кряжистый и угрюмый дед Федор, и правильный Константин, и тихий местный святой старик Саввин – все они принадлежат Белому морю, все они вглядываются в таинственные голомя.

Так что же, Белое море, открытое море, его голомя – и есть главный герой?

Видимо, так. Тем более что на встречу с морем и на сражение с ним выходят в конце концов и дед, и внук, и Федор, и Гриша.

С фигурой Федора в романе связана некая гнетущая тайна. О ней не рассказывала даже бабка – *«ни почему он был на пенсии размером с воробьиный хвост, ни почему, не дожидаясь похорон, пришли к ним в дом какие-то люди и забрали дедовы награды, все до одной, наперечет, по списку»*. Постепенно выясняется: дед, герой войны (*«Карельский фронт. Рядовой штрафного батальона. Шестнадцать разведок боем. Два ордена. Старший лейтенант. Потом капитан. Командир штрафного батальона. Контузия. Ранение...»*), – из тех, кто сажал, раскулачивал и расстреливал, и этот след дедова преступления сразу ставит новиковский роман в стороне от тех семейных рекевиемов, которые традиционно посвящены невинно погубленным и пострадавшим. В основе мира «Голомяного пламени» лежит преступление: когда тонула во время шторма баржа с ссыльными и люди – сильные поморы, заведомые «морезнатцы» – спасались, прыгая в воду и пытаясь доплыть до берега, именно Федор, крича «про предательство, про побег, про не простит страна», расстреливал ссыльных с баржи из пулемета...

Веером ложились на воду пули. И вода стала красной <...> Один за одним уходили в воду, в глубь ледовые кормчие. Один за одним исчезали там северные люди, сталь земли русской. И словно рыбины, сверкнув на глубине белизной, исчезали в морской воде. Будто семужья стая навсегда уходила от родных берегов, истерзанная злой непонятной силой <...> Яркая, тонущая небесная радуга легла на голомя и уходила вместе с жизнью и надеждой, вслед за рыбьим племенем, еще недавно бывшим людьми и от людского зла ушедшим.

И это – тот самый дед, который растит боязливого внука и открывает ему тайны моря и леса? Тот самый, что, раненый и контуженый, проходит с наградами всю войну? Тот самый, что всегда хотел «взять медведя»?

«Голомяное пламя» Новикова – роман-оксюморон. Природа, история, психология, человеческие отношения – всё в нем неоднозначно и зыбко, всё поворачивается к читателю то нестерпимым сиянием, то черной бездной. То ледяным провалом штормящего моря, то радугой, поднимающейся над утихшей водой. Не случайно сквозной образ романа – сравнение человека с рыбой, а сквозной сюжет – рыбная ловля, цепочка хлестких, метафорических, завораживающих сцен, в каждой из которых любовь оказывается слита с гибелью, нежность – со зверством, а самая смерть северных дорогих рыб – с могучей энергией утверждения жизни, прорывающейся при каждом ударе рыбьего мощного тела о водную гладь.

Все эти рыболовные эпизоды выписаны Новиковым с нескрываемым наслаждением, которое, разумеется, тут же передается читателю, заставляя его затаив дыхание следить не

только за «рыбьей» символикой и метафорикой, но и за вполне конкретными подробностями рыбацкой охоты. Вот человек оказывается сцеплен с гладким огромным налимом крючком-тройником. Вот под грозовым ливнем вытаскивает из воды серебристую «семушку, тиндочку, морскую косулю». Вот начинается «щучий жор». Вот стадо семги идет на нерест, и никакие сети, никакие человеческие уловки не останавливают ее. Вот аквариумный сомик, шевеля большим ртом:

«Вот-там, от-ман...», – предупреждает мальчика Гришу о подступающей мерзости взрослого мира...

Сцена насилия над мальчиком, как и сцена спасения героя от алкогольной интоксикации, дана в протокольном духе «нового реализма», как будто бы контрастируя с экспрессионистской манерой исполнения «беломорских» глав. Но вот что интересно: у любого другого эта сцена стала бы кульминационной, смыслообразующей, доказывающей тотальный распад мира и неизбежную катастрофу героя. У Новикова же эта сцена – одна из многих, наряду с расстрелом ссыльных на барже или убийством матерого лося медведем – во время гона. Да, преступления Федора рикошетом ударяют по Грише, но Гриша после этого поднимается и становится детским реаниматологом. Мы убиваем, нас убивают. Убитая рыба дарит рыбакам ощущение остроты и пронзительного вкуса жизни. Над ледяными волнами вспыхивает пламя радуги. На берегу Белого моря, меж затерявшимися в перелесках скитами, Грише и его брату является черт. Голомя грозят смертью, но только соприкоснувшись с этой стихией, можно вернуть себе желание жить. Отсюда и метафорика рыбной ловли – одновременно прозрачная и насыщенная, прямолинейная и изощренная, уже ожидаемая от Новикова – и все равно непредсказуемая в каждой сцене:

Даже когда я ловил и убивал ее, я любил. Я любил распластать ее серебряное тело на прибрежных камнях и черевить его медленно и обстоятельно – и внутри она была так же прекрасна, как снаружи. Ярко-оранжевое мясо ее, перламутровые внутренности, всегда пустой желудок (на нересте она не ест) – иногда мне казалось, что все это лишь прекрасные телесные муляжи, прилагаемые к высшему духу красоты, который она гордо несла в себе. Я любил ее запах – она пахла не рыбой, не морем, не жиром, – она пахла собой, жизнью, прыжками своими, яростным взлетом в небо. Изменой морю она пахла...

«Голомяное пламя» пахнет кровью и морем, современностью и историей. По сути, голомя, где можно сгинуть, а можно и спастись, – это и есть наша история, история России (не только) XX века. И где, как не на Белом море – на побережье древних скифов и советских лагерей, – вспомнить об этом и это принять?

Елена Погорелая

Я очень рад был редкой книге, подаренной на днях моим знакомым Гришей, имевшим внешность русского богатыря – высокий рост, рыжие кудри, окладистая борода. Гриша работал врачом-реаниматологом в детской больнице. А еще он сочинял и пел пронзительные, заразные песни, от которых увлажнились глаза даже у суровых северных мужчин. Книгу эту он принес мне в благодарность за несколько подсказанных маршрутов по берегам Белого моря, куда он хотел съездить полечить душу, по его выражению.

Тяжелый темно-синий том был приятен рукам и глазу. Золотом тисненое название тоже радовало. «Словарь живого поморского языка». Вообще, я люблю словари. Из них можно много нового узнать, не то что из каких-нибудь романов. Опять же, история создателя его, Ивана Дурова, привлекла меня. Уроженец древнего поморского села Сумской Посад, он был самоучкой. Увлечен изучением поморской говори, стал собирать пословицы, обряды, поговорки. Занимался этим пять лет, собрал словарь, отослал в Академию наук. И через несколько лет был расстрелян в карельском местечке Сандармох, что близ Беломорканала, по «делу кра-

еведов». Рукопись восемьдесят лет пролежала в архивах и только недавно была найдена и издана. Ценный подарок.

Гриша много и восторженно рассказывал о походах по подсказанным мною местам. «Доброй ты человек», – благодарил он, наслушавшись поморской речи. Живописал Белое море, северные реки, поля можжевельника.

А мне тогда вспомнились слова моей карельской бабки. «Можжевела – дерево смерти», – она говорила...

1975, п. Пряжа

Самое страшное было – смотреть на него сзади, когда спина голая. Рука, лопатка, плечо – три дыры. Затянувшиеся, зажившие, но не шрамы, а дыры. Гриша спрашивать боялся, а сам дед никогда не рассказывал. Но и так было ясно, что автомат, и что в спину, и что выжить было нереально. Дед выжил. Только ходил теперь медленно и страшно кашлял по ночам. Так громко и хрипло, будто рассерженный, умирающий лев где-нибудь в африканской темноте, и Гриша часто просыпался, и спине было зябко и ежко – так и лежал целую вечность, не смея пошевелинуться и затаив дыхание. Потом дед замолкал, тогда потихоньку засыпал и Гриша, кутая нос в бабушкино одеяло.

Пахло оно непривычно и терпко. Вообще весь дом пропитан был запахами какой-то другой, забытой жизни – быстро кидающимися в нос, чуть только войдешь с улицы, и заставляющими невольно задумываться, вспоминать – что значит каждый. Вот этот, теплый, сухой, немного пыльный, известчатый – русская печка. Не под ее – откуда всегда тянуло вкусной едой – блины ли, уха или жареная картошка, а верх, который так и назывался – «напечь». «Не лазьте напечь», – бабушка не ругалась, а так, на всякий случай говорила, чтобы кто-нибудь из многочисленной детворы мал мала не сверзился оттуда. Гриша был самым старшим из этой мелюзги и потому ответственным за всех. «Напечь» была застелена старыми желтыми газетами, поверх них лежали какие-то шкуры. Одна, он точно знал, – дикого кабана, с длинным жестким ворсом и желтой пряной мездрой. Шкурой можно было пугать младших, когда те, не зная удержу, оголтело бесились часы напролет. Другие – мирные домашние овчины, мягкие и какие-то беззащитные. Всё это – теплая печь, крашенная белой сыпучей известкой, старые газеты, дикий кабан, послушные овцы – переплеталось, накладывалось друг на друга и давало тот запах деревенского дома, который навсегда застрял в носу, и стоило через много лет вспомнить о детстве – он сразу явственно возникал, щемящий и сложный.

Печь была бабушкой. С запахом, с теплотой, со вкусом еды, которая постоянно томилась в теплом чреве ее, в огромных черных чугунах – неземная тайна была в их появлении из яростной, багровой преисподней – их ухватывали рогатыми ухватами. С крепким и тягуче-сладким, через каждый час, чаем из темного, закопченного чайника, который позже сменился блестящим, электрическим – и чаепития еще участились. Черный хлеб, политый постным маслом и посыпанный крупной солью, белый батон с сахарным песком – эти яства тоже были бабушкой.

Дедом был чулан. Небольшой, темный, сразу налево после входа в дом, напротив кухни. Даже не чулан, а большой шкаф, завешенный тряпичной занавеской. Там стояли ружья. Туда Гриша забирался один, не пуская никого из малышни, и долго сидел в темноте, трогая холодный металл стволов и гладкое дерево прикладов. Они тоже пахли, ружья. Пахли опасно и тревожно. И зовуще, с какой-то мужественной ласковостью, с какой-то конечной ответственностью. Гриша сразу ощущал себя много старше, когда осторожно взводил курок, медленно потом нажимал на спуск. Боек сухо шелкал, и если в доме был кто из взрослых, особенно дед или дядья, то сразу начинали ругаться, говорить, чтоб не баловался. Еще в шкафу висела лесная одежда. Запах ее был похож на запах кабаньей шкуры, такой же дикий, но с металлической, искусственной отдушкой. И сразу выстраивалось родство их – одежды, ружей, шкуры кабана. Сразу становилось понятно, как и зачем всё было – опасность, настороженность, азарт, выстрел, короткий взвизг, сучение ног, длинный нож в руках. Сухие листья под телом. Горячая кровь, которую жадно пьет осенняя земля. Чулан был дедом. Еще в нем висела шинель.

Вообще, в доме было много военного. Фотографии в альбоме, где дед – бравый лейтенант в кителе, с боевыми орденами. Гриша тогда уже знал, что Красная Звезда и Боевое Красное Знамя – ордена настоящие, заслуженные. Гордые. Они лежали в красных коробочках в верхнем ящике комода, и Гриша часто тайком доставал их и гладил пальцами лаковую поверхность.

Особенно нравилось ему, что крепились они к одежде не игольчатой застежкой, как какие-нибудь несерьезные значки, а уверенной, мощной закруткой, чтоб если и вырвать, то только с большим куском одежды и сердца. Дед никогда не рассказывал про войну, не разрешал играть с орденами. Он не ругался, но умел так посмотреть, что сразу холодел затылок и хотелось быть послушным. Еще во втором ящике комода, запертом на ключ, хранились патроны. Иногда ему разрешали смотреть, как дед с дядьями собираются на охоту. Тогда они доставали из этого ящика восхитительные гильзы, блестящие драгоценные капсюли, дробь разных номеров, смешные пыжи, раскладывали всё это на полу, на аккуратно расстеленной газете, садились рядом и начинали понятное, но вместе с тем таинственное дело. Забивали капсюли в гильзы, сыпали порох, потом вставляли тонкую картонную прокладку, плотно забивали толстый пыж, после закладывали дробь. Вставляли еще одну прокладку, завальцовывали гильзу. Иногда вместо дроби в гильзу помещалась пуля – часто по-смешному круглая, реже – опасная, с острым носиком. Так у них ловко и быстро всё получалось, что Гриша налюбоваться не мог. Всё это они делали по очереди, каждый свое, и весь процесс сливался в четкую, простую гармонию ружейной радости. Руки сами тянулись помочь, но ему лишь позволяли поиграть с дробью да редко перепадала закатившаяся в щель пуля. Еще были шомпола со щеточками, и взрослые чистили стволы своих ружей, смазывали их темным маслом, заглядывали внутрь на просвет и удовлетворенно откладывали в сторону. Во всё этом виден был строгий обычай, ритуал, и главным здесь опять был дед. Бывало, что кто-нибудь из дядьев выбивался из отлаженного ритма, отвлекался, неловко шевелил пальцами, тогда дед не боялся взрослых огромных мужиков подгонять увесистыми подзатыльниками. Было шутливо – улыбались, всерьез – не смели слова в ответ сказать, лишь головы наклоняли ниже да сопели старательней.

Отец Гришин никогда не притрагивался к оружию и припасам. Говорил, что жалеет животных. Он был самым старшим из сыновей и рано уехал жить в город. Сидел, наблюдал за ловкими пальцами братьев и деда, но не брал в руки ничего из волнующих, заманчивых предметов. Дед посматривал на него с непонятной усмешкой, словно знал что-то такое, чего другим не узнать ни с возрастом, ни с мирным опытом. Мирный опыт – опыт жизни. Дед знал другое.

Отец тоже помнил. Младшие сестры и братья – нет.

Фамилия бабушки до замужества была Власова. Обычная фамилия, полдеревни было таких. Это потом век расставил всё по местам, и стали одни почитаемы, Ульяновы какие-нибудь, другие сделались врагами. А как разобраться, как понять, что даже свежее веяние может нести в себе гнилые пороки. Законом человеческим тысячелетия срок, а быстрое счастье для всех настолько скоро превращается в страшную противоположность свою, что жизни человеческой может хватить, чтобы увидеть все стадии сладостного процесса – от задора молодых до тупого отчаянья старых. В середине же – злая воля зрелых, еще уверенных, но уже бесстыжих. Это назовется бесовским словом «диалектика», но как понять его без опыта и Бога? А понимать нужно было всем. Нужно было и Гришину деду.

Думать тяжело – это Гриша тоже понял, когда повзрослел. А в юности, в молодости – куда как просто, есть чувственность и злость, и злое зрение отважно указывает на врагов. Их много, привыкшие к оружию руки знают это.

Были крик и детский плач. Дед был не дед, а молодой герой. Израненный и жесткий. Когда вдруг что-то возразила бабка, не бабка тоже, а мать и молодая некрасивая жена, уже родившая к тому времени пятерых. Возразила, а может, по-карельски что сказала. Он запрещал ей – мы интернационалисты по воле нужд советских. Когда возразила непослушно, или на языке непонятном сказала что, может, ругнулась на святое, поплыло всё перед глазами от бешенства. От ярости запрыгал пульс аорты. Всё вспомнилось – чужие раньше крики, сиротский хлеб, на море шторм и волны, грудь свою о скалы рвущие. Доверие к отцам и командирам. Предательство и три дыры в спине. Всё вспомнилось и захлестнуло. И по камням поволокло.

Схватил ружье и крикнул этой стерве – пошла на огород, вражина. Ревмя орали дети, ублюдки, выродки, враги. Чужого корня стебли. Не русского. Почти что финны.

– Пошла быстрее, расстреливать буду, власовцы поганые! – так крикнул, уши заложило у самого. Замолкли дети, испугались сильно. Лишь старший носом шмыгал незаметно, чуть дыша. Она стояла на земле, на пашне. Босая. На руках – двое маленьких. Двое средних прижались к ногам. Первенец чуть в стороне. Все стояли и глядели на него. Молча. Ружье плясало в руках. Ненависть плясала в голове. Полностью заполнив ее. Вытеснив всё остальное. Потом пошел дождь. Крупные капли стали падать на землю, на белые головы, на грязные ноги. Там, где падала капля, он ясно видел – исчезала земная грязь и ярким розовым кружком на ногах начинала светиться живая кожа. Детская и взрослая. Родная.

Холодные ручьи потекли по лицу, по плечам, за шиворот. Он задрожал и бросил в грязь ружье. До крохотной песчины вдруг сжалась ненависть в голове, и та загудела, как старый колокол. Он повернулся, шатаясь, побежал в дом. Следом за ним рванулся старший: «Папка, не плачь!»

Дом стоял на невысоком косогоре, над речкой. Вообще это была даже не речка, а ручей, сильно заросший ивняком, осокой, весело журчащий меж камней и среди корней деревьев, порой полностью ими скрытый. Перепрыгивая с одного большого камня на другой, его можно было пересечь полностью. Мешал страх. Чуть из вида скрывался за тонкими стволами ближний к дому берег, как настоящие джунгли обступали Гришу со всех сторон. Смолкали крики птиц. Лишь таинственно шелестела ива своими узкими листьями, и шелест этот был тоже какой-то узкий и опасный. Страх вместе с неодолимой силой, заставлявшей двигаться дальше и дальше, делал чары ручья пряными и чистыми, словно запах отмерзшей земли. Да он и пах так, ручей, – влажной землей с корней деревьев и кустов, журчащей светлой водой, мокрым мхом камней. Гриша часами мог наблюдать за его жизнью. Следил за юркими мальками в стройных струях, искал ручейников в их домах-палочках, влюблялся в прекрасных лягушек, смыслено снующих повсюду. Один раз ручей подарил ему настоящего зверя. Мальчик тогда сделал всего несколько прыжков по камням, еще знакомым его ногам (дальше лежали незнакомые и опасные, падением в воду пугающие), и увидел зверя. Небольшой, темно-коричневый, с острой мордочкой и круглыми ушами. Он был совсем рядом, в двух метрах. Гриша замер. Зверь недовольно ощерился и фыркнул. Укололи взгляд белые иглы зубов. Рядом на камне лежала растерзанная птица. Вернее, и птицы уже никакой не было, веер перьев и несколько капель крови на шершавой серой поверхности дикой столешницы. Секунду зверь стоял, прикидывая силы, затем повернулся и текуче, беззвучно исчез в высокой траве. Лишь длинный хвост змеей скользнул за ним. Так странно это было – страшно и притягательно, навязчиво и сильно.словно и сам Гриша был немного этим зверем, словно сам он скользил сквозь траву и наслаждался добычей.словно сам он сладко убивал. Гриша начал дышать через минуту. Еще через одну повернулся и на дрожащих ногах попрыгал до знакомого берега. Промчался мимо дедовой бани. Набирая скорость, пронесся по сладко пружинящим доскам, проложенным через болотистую полянку к дому. Влетел туда и закричал отцу: «Зверь, зверь! Видел! Коричневый! Ел птицу!»

«Наверное, норка, – равнодушно сказал отец. – Со зверофермы сбежала».

Баня стояла на самом берегу ручья, шаг – и вода. Чуть подальше, меж двух камней, была глубокая, по грудь взрослого, протока, куда после парилки можно было прыгать, утробно хохоча. Вообще, суббота, банный день, была праздником. Баню топили с утра. Грише разрешали следить за огнем, и он, гордый своей взрослой обязанностью, таскал дрова, подкладывал их в шумящую печь, потом закрывал тяжелую чугунную дверцу и внимательно следил, чтобы ни один уголек не дай бог не вывалился из раскаленного зева. Следить было тяжело, жарко, позже – почти невозможно, он часто выскакивал на берег ручья и жадно, глубоко дышал вдвойне вкусным после жара воздухом, словно глупая рыба, попавшаяся на крючок и решив-

шая напоследок надышаться вволю. Иногда к нему приходила бабушка – посмотреть, как он справляется. Гладила по голове со своим извечным: «А-вой-вой, совсем ребенка замучили», совала в руку кусок сахара. Хорошо было, когда сахар был каменный, твердый, еле сосущийся. Гораздо хуже, когда прессованный рафинад, он мгновенно растворялся во рту, оставляя вкус неудовлетворенности и скоротечности.

К обеду начинали подходить родственники, дядя и тетки с семьями. В доме, а особенно во дворе становилось шумно, начинала бегать обрадованная встречей детвора. Гриша, гордый своим делом, смотрел на малышню снисходительно. Лишь когда приходил Серега, он позволял себе расслабиться, потому что тот сразу принимался помогать. Сереге было столько же лет, как Грише, но отец объяснил, что тот ему приходится двоюродным дядей. Гришу это неприятно удивило, но дядя ничуть не заносился. Они стали дружить.

Он был странный, Серега. Какой-то слишком добрый. Всепрощающий. Как-то мчался вприпрыжку через поляну между баней и домом. И хищно налетел на него пасшийся невдалеке баран. Два раза поддал в спину крутолобою башкой, затем прижал к забору и держал. Серега слабыми ладошками пытался оттолкнуть его голову, но тот лишь напористо мотал ею, всё крепче прижимая к доскам, под ребра. Серега уже начал тяжело дышать, но когда Гриша схватил толстую палку, закричал:

– Не надо, ему будет больно!

Так и стояли в опасном прижиме, пока барану не надоела слабость жертвы и он не ушел сам. А после не было у Сереги мысли хотя бы камнем издали обидеть наглеца.

Еще он очень любил птиц. Часами мог смотреть, как парит в воздухе, в высоком синем воздухе большая птица, на расстоянии становившаяся маленькой птахой. Днями возился с голубями, таскал их за пазухой, шептался с ними. Таких, как он, легко принимает алкоголь. Они не имеют сил сопротивляться его мощному, стремительному течению. Лет через двадцать, после месячного слезливого запоя, он повесился на бельевой веревке, и на его могиле всегда были крошки хлеба, крестики-следы и легкий птичий пух, запутавшийся в высокой, бестолковой траве.

Париться начинали за пару часов до ужина. Сначала в баню шли женщины. Возглавляла их вереницу всегда бабушка, и было смешно смотреть, как она, важно, по-утиному переваливаясь с ноги на ногу, ведет за собой стайку присмиривших молодых. «А-вой-вой, натопили как, нельзя зайти», – доносился из бани ее радостный голос, и Гриша с Серегой довольно переглядывались – это была похвала им.

Женщины парились недолго, по первому пару было тяжело. Уже через час они в таком же порядке возвращались в дом. Головы их, обмотанные мокрыми полотенцами, покрасневшие лица, плавные, томные движения были наполнены какими-то редкими, даже странными неторопливостью и спокойствием. Какой-то мудростью и отрешенностью. Какой-то стойкой покорностью. Это было недолго. Едва войдя в дом, они начинали суетиться, бегать, готовить ужин. Бабушка командовала, но не напористо, жестко, а мягко и с юмором. Тут и там доносилось ее жалобное «а-вой-вой», одновременно жалевшее и подгонявшее нерасторопных неумех.

Мужики шли, когда баня уже сама была как печь. Неистово-красный жар раскаленных углей таился в кирпичной глубине, тихо и опасно вздыхая. Закрывали вьюшку. Становилось невозможно дышать. Невозможно жить. Мutilось в голове, и хотелось выскочить на волю. Подгибались ноги, и казалось, что наступил тот край, за который – только лежать. Но дед или отец легонько подталкивали Гришу, заставляя залезть на полочку. Доски были горячи до солоности во рту. Сидеть невозможно, казалось – ягодицы сейчас заискрятся и вспыхнут тяжелым, влажным пламенем. Гриша подкладывал под себя кисти рук – ладони терпели лучше. Только он потихоньку устраивался, только начинал оживать и оглядываться, как дед открывал дверцу каменки и, кивком предупредив остальных, ухал в черный зев полковша кипятку. Внутри раздавался взрыв, и яростный бесцветный пар вырывался наружу, сметая на пути всё живое.

Уши, ноздри, ногти закусывало раскаленными клещами ослепительной боли, Гриша визжал и пытался удрать, спрыгнув с полка и прорвавшись между взрослых тел. Дед был начеку. Он быстро прихватывал Гришу за предплечье, ловким движением укладывал на живот и начинал хлестать готовым уже, заранее запаренным веником. Гриша кричал и брыкался. Спина горела, было нечем дышать, в голове роились разноцветные шары. «Терпи, сиг, терпи, залётка», – приговаривал дед серьезно, но где-то глубоко слышалась усмешка. Грише казалось, что наступил предел, что кончилась его маленькая жизнь, но дед поддавал еще пару и прорабатывал ему живот, грудь, плечи. Потом отпускал. Гришу подхватывал отец, ставил на пол. Дед брал ведро холодной воды и окатывал внука с головы до ног. Мгновенный острый холод на сиятельный жар, жидкая тяжелая жизнь на раскаленную смерть заставляли Гришу приседать, словно сверху ложилась на него благословляющая длань. После этого он, удивляя себя и вызывая смех у других, выпрямлялся на дрожащих ногах и как-то по-взрослому кричал. Дед заворачивал его в простыню и выносил в предбанник. «Что, залетка, хорошо?» – спрашивал и нырял обратно в ад. Гриша сидел, жадно пил воду из большой алюминиевой кружки, слушал крики и секущие удары из бани. В голове было пусто и прекрасно, словно в чистой скорлупе яйца. Тело пело. Душа трепетала внутри.

Спину деда он впервые увидел тоже в бане...

1913, п. Пряжа; 1943, Карельский фронт, Ленинградская область

Я знаю, Федор, я помню через поколение – ты очень хотел взять медведя. Тапио – лесной дух, бог болот и сосновых лесов – ты всё помнил.

Тебя завораживали рассказы стариков, как брали зверя на рогатину. Дед твой, старый охотник, говорил основательно. Как нужно выбрать березку хорошую, с расходящимся надвое стволом. Чтобы именно в размер медвежьей шеи угол этот был. Чтобы не гнилая, крепкая и здоровая, ведь от нее потом жизнь твоя будет зависеть. Можно и распорку меж стволов вставить или, наоборот, слегка стянуть их веревкою, и нужный вид она за пару лет сама примет. Всё строго нужно делать, мгновения потом не поймать между жизнью и смертью, если что не так пойдет. Не даст медведь тебе ни одного шанса, чуть поскользнешь. Как найти зверя, как раздражить его, чтобы на тебя пошел. Михаил так-то не злой, лучше уйти захочет, чем биться, если только детей его или добычи дело не касается. Поэтому лучше его на приваде брать, он своего отдавать не захочет. Как на задние лапы его поднять, чтобы он в ярости на тебя пал сверху. Как рогатину успеть подставить, чтобы шею его зажала, и в землю другой конец упереть. Не ошибившись ни на секунду, ни на сантиметр. И тогда, пока медведь будет с себя ее срывать, будет у тебя шанс подскочить под него и финским ножом в сердце не промахнуться. И вейче¹ твой должен быть такой закалки, чтобы ребра медвежьей, как бумагу, прошил...

Дед твой сам ковал и точил ножи. Когда готово было лезвие, красное, раскаленное от жара, брал берестяной туес, наливал в него наполовину воды, наполовину льняного масла. А потом протыкал туес ножом посередине, чтобы режущий край в воде был, а верхний в масле. И жало тогда закалялось так, что гибким становилось, не хрупким, а рубить можно хоть дерево, хоть кости – не тупилось совсем. После мелким напильником доводил вручную – тшщ, тшщ. А потом забивал гвоздь в бревенчатую стену и срубал его напрочь новым ножом. И не оставалось на жале ни зазубрины.

А помнишь, как однажды он взял медведя и привез разделявать домой? Ты поразился тогда когтям зверя. Они были словно черные толстые спицы – длинные и острые. Дед еще смеялся, положил медвежью лапу себе на макушку, и когти доставали до подбородка.

– Смотри, – говорил, – Федя, силища какая.

Говорил с уважением и даже каким-то восхищением:

– Если захочет да разозлится, не убежишь от него, не скроешься. Ни на лошади не укачешь. Можно иногда на дереве спастись, Михаил когда большой, ему лень становится по деревьям лазать, тяжело. Но и то может любое дерево повалить. Корни подроеет да повалит. Это сильно его обидеть нужно, зимой из берлоги поднять или ранить. Еще ранней весной он злой бывает, когда голодный сильно. Или медведица медвежат своих защищать будет. А так он мирный. Ходит, пасется. Ягоды собирает, корешки разные. Человека почует, так постарается уйти незаметно. Ни сучок под лапой не треснет. Только взгляд его иногда можешь в лесу почуять. Холод по спине побежит – значит, смотрит на тебя откуда-нибудь с горы. Ты поэтому в лесу ходишь – шуми да пой громче, чтобы ушел, не прощаясь. Иногда, когда внезапно на него выйдешь неслышно, он сам испугаться может и броситься со страха. А так Бог медведя человеку покорил. Опасается он нас.

Всё это дед твой говорил, снимая черную тяжелую шкуру. А ты опять поразился, насколько медведь без шкуры стал похож на голого человека. Ноги, руки, плечи. И только косматая голова с огромными оскаленными клыками источала нечеловечью ленную силу.

¹ Вейче – нож (карельск.).

– Недаром у финнов шестнадцать имен для медведя есть. Всё для того, чтобы настоящее имя его не произносить, уж больно оно страшное. Да и приманить, позвать его можно, если произнесешь вслух. Поэтому Тапио – лесной дух – самое подходящее. И бояться его не нужно. Это огромное счастье, если в лесу какого зверя увидишь. Значит, природа тебе свою сокровенную тайну показала. Зверя бояться в лесу не надо. Человека бойся.

Дед твой помрачнел и замолчал, задумавшись.

А тебе повезло быстро.

Ты шел за грибами по лесной тропинке. Была ранняя осень, и птицы еще всю веселились и сновали меж ветвей. Чирикание там, клёхтанье здесь. Лист еще стоял зеленый, лишь кое-где на березах сверкали ярким дешевым золотом желтые пряди. Ты шел по тропинке в хорошо знакомом лесу и снова удивлялся и радовался новостям – эта осинка подросла и стала совсем красавицей в ярко-красном сарафане, а камень змеиный в этот раз оказался пустой – уползла гадючка куда-то по своим делам. Тропинка была древней дорогой. Какие-то могучие старики выворотили огромные валуны и сложили их в кучи по сторонам. Они же, наверное, вырыли широкую канаву вдоль нее, и в болотистых местах дорожка оставалась сухой. Кто знает, каких времен это были дела, тех ли, когда карелы еще крестились левым кулаком, или позже, когда, устав от обид северных пришельцев, собрались в поход дети десяти карельских племен и сожгли старую столицу викингов Сиггуну. Но сегодня лес был веселый и ушмешливый. Заливисто хихикало под теплым ветром лиственное мелколесье, а вековые сосны тихонько гудели далеко вверх свои древние песнопения.

И вдруг совсем рядом раздался страшный рев. Он сотряс воздух, словно гром начинающей грозы. Ты знал уже, что сентябрь – время гона лосей, когда идут друг другу навстречу два могучих исполина, чтобы биться за любовь. Их берут тогда на реву. В такой момент лучше не попадаться лосю на пути. Ты стал присматривать дерево покрепче да поудобнее, но что-то мгновенно изменилось вокруг. Рев смолк, вместо него раздался сильный треск, и совсем рядом с тобой закачались мелкие березы. Ты не успел даже отпрыгнуть в сторону, как метрах в трех на мелкую болотину выскочил сохатый. Он уже не шел напористо, он убежал. Стремительно проскочив лесную проплешину, он прыгнул через полную воды и тины канаву и не достал до края ее, глубоко, в веере сверкнувших на солнце брызг, увязнув задними ногами. Оперся передними на сухой отвал и стал с усилием выбираться. Но мгновение вслед за ним выскочила из лесу покрытая черной шерстью скала, и в огромном прыжке, с коротким «Рррряяя» оказалась на лосиной спине. Размашистый удар лапой, и к ногам твоим откатился пульсирующий кровью кусок вырванного с мясом и шкурой хребта...

Как ты бежал в тот раз! Ветер свистел в ушах, а ноги стремительными скачками несли тебя через валуны, через столбы поваленных деревьев к дому, к людям. Но никто не гнался за тобой. Хозяин взял свою добычу.

Я очень мало знал тебя. Ты ушел, когда мне было шесть. Несколько детских рыбалок вместе. Несколько рассказов об охоте. Ночной твой кашель, тяжелый, почти рев, когда ты пытался очистить простреленные, прокуренные легкие. Твой хмурый взгляд и жесткие слова, когда тебя звали на митинги ветеранов и героев. «Герои те, кто в земле лежат», – говорил ты.

Короткие строчки наградных документов на два ордена.

Твоего отца звали Трифон. Твой дед остался для меня безымянным. Кем были, куда сгинули твои мать и бабушка? Были ли братья и сестры? Я ничего не знаю.

Почему ты на озерах ловил шук поморскими снастями, ставил яруса? Не потому ли меня так тянет на Белое море, не здесь ли химия любви к нему?

И если ты родом оттуда, как к началу войны оказался в вологодских краях, не в лагерях ли? Потому что призвали тебя на войну рядовым в штрафной батальон. И вдруг тогда отец твой и дед пропали в Ухтинском восстании, когда поднялись всегда склонные раньше к русским беломорские карелы, тут не выдержав обид и поборов, когда отнимали последние скудные

плоды северных земель. Спасла ли тебя мать, затолкав в вагон проходящего поезда, идущего всё равно куда, лишь бы не попал ты на черные невозвратные баржи, о которых до сих пор помнят в поморских деревнях?

Ничего не знаю. Нет ответов. Остается лишь гадать, искать скудные следы среди коротких строчек наградных документов. Карельский фронт. Рядовой штрафного батальона. Шестнадцать разведок боем. Два ордена. Старший лейтенант. Потом капитан. Командир штрафного батальона. Контузия. Ранение.

Ты очень хотел взять медведя. А он всё не давался тебе. Почему-то. Ты даже стал думать, что если без шкуры медведь похож на человека, то не станет ли человек, напялив шкуру, похожим на зверя. Шкуру на душу. Может, тебе тогда не хватало этого звериного внутри? А может, медведь вовсе не враг тебе? Потому что лосей, волков и кабанов ты легко брал десятками.

Помнишь, тот случай на охоте. Ты долго выслеживал его и наконец настиг. Он мирно пасся на болоте, лакомясь клюквой. Ветер был с его стороны, патрон в патроннике, предохранитель снят. Твой боевой пес молча рвался с поводка, почуяв добычу. И вдруг он сорвался, не выдержал карабин. Он прыжками понесся к медведю. А тот ничего не видел, увлеченный едой. И вдруг на середине пути из густого ельника выскочил матерый волчара и набросился на пса, схватил его за загривок и потащил в лес. Тебе ничего не оставалось, как стрелять волка. Ты убил его и спас пса. Медведь же потихоньку улизнул. Израненная собака не могла идти, и ты тащил ее на руках десять километров. Было тяжело, но ты не бросил ее, донес. Не так ли потом тащили тебя с рваными дырами выходных отверстий в спине. А следом волокли визжащую от ужаса добычу. Ночь была белой от разрывов.

За три часа до того ты точил свой финский нож, свой вейче. Точил так, как учил дед: «Тщцц, тщцц, тщцц». Так, чтоб он мягко проходил сквозь ребра, как сквозь бумагу...

Наверняка ты думал о многом в тот момент. Вспоминал свою жизнь. То, о чем никому не рассказывал.

Я снова и снова перечитываю твои документы. «Лично расставил несколько сотен противотанковых мин, в два раза больше противопехотных, еще больше фугасов.

Лично руководил разведками боем. В одной из них первым ворвался в траншею противника. Двумя гранатами взорвал землянку с пятью солдатами и офицером. При отражении контратаки противника из ручного пулемета уничтожил более двадцати гитлеровцев. Умело перевоспитывал бойцов-штрафников».

Я долго не мог понять, как вы смогли. Как после месяцев отступления, после многих тысяч сдавшихся в плен, после всех предыдущих обид на власть и страну вы смогли повернуть всё вспять.

Думал и не мог понять, пока не познакомился с интересным человеком. Мой ровесник, полковник, Герой России. С золотой звездой на груди. И когда мы приняли на грудь по маленькой, по ноль пять горькой и белой, я решился об этом спросить.

– Понимаешь, русские воюют всегда не за кого-то или что-то, а против несправедливости. Не за Родину, Сталина и прочее. А против немцев, когда поймут, что они враги и добыча. Те ведь тоже не дураки были, пытались играть на исторических чувствах, церкви открывали. Наши мужички думали и присматривались до определенного момента. А когда поняли и разобрались, решили, что пора ломать хребет. И тут уже не важно было всё остальное, – так сказал мне друг-полковник.

Немец пер весело и нагло, как лось на осеннем гону. С ревом и фанфарами. А потом его остановили...

Ты закончил точить свой нож. Взглянул на часы и коротко сказал: «Пошли».

Накинув шкуры маскхалатов, взвод молча полз. Ни одна ветка не хрустнула под тихим движением. Взвод стелился по земле, сливаясь в одно могучее лесное тело. Которое уже чув-

ствовало близость добычи. «Вперед!» – крикнул ты на последних метрах. «Ррря!» – рявкнул взвод в коротком прыжке...

Кондак, глас 3

Всё умное свое желание к Богу вперив и тому невозвратно от души последовал еси, и житейския молвы отринув, в молитвах и слезах и злостраданиих плоть свою изнуряя, добре подвизався противу невидимаго врага кознем и победив я, веселяся прешел еси к небесным чертогам, и ныне со Ангелы Святей Троице предстоя, отнужу же и Всевидящее Око твоя труды видеви, даром чудес по преставлении обогатило тя есть, иже тебе верою почитающим, приходящим же, и честным мощем твоим покланяющимся от честнаго ти гроба исцеление подаваеши невидимо и молишися непрестанно, сохраняя отечество свое и люди от враг видимых и невидимых, ненаветны, да вси тебе вопием: преподобне отче наш Варлааме, Христа Бога моли непрестанно о всех нас.

2005, Ловозеро

– Сёй, сёй.² – Баба Лена всё подкладывает в тарелки дымящейся вареной оленины. Она – карелка. Дед Андрей – коми. Коми-ижемец – он явно гордится происхождением.

В маленькой лесной избушке тепло. Это самое главное – еще полчаса назад мы с Володей дрожали крупной звериной дрожью, насквозь промокнув под брызгами злых, острых волн озера Любви (как еще на русский перевести Ловозеро).

Дед Андрей – маленький, сморщенный, быстро пьянеющий старик с пронзительными голубыми глазами. У настоящих алкоголиков они мутные, постоянно слезятся. Здесь же этого нет и в помине.

– Ты не смотри, что я сейчас в лесу живу. Я мно-о-огое прошел... – Он постоянно в движении. Присядет за стол, вскочит подкинуть дров, помешать парящее варево на плите. – Я в поселке раньше жил. А еще раньше олениводом работал, бригадиром в бригаде. Двадцать человек у меня было, и все девушки...

Он сладко жмурится.

– Комсоргом я у них был, – продолжает после паузы, отхлебнув черного, полкружки сахара, чаю. – Взносы собирал.

– А какие взносы были, сколько? – Мне вдруг стало интересно, вспомнилась красная книжца с фиолетовыми размытыми штампами внутри «Уплачено. ВЛКСМ».

– Сколько-нисколько. Палка – взнос. – Дед Андрей радостно смеется, хороша была комсомольская юность.

– А раньше где жили? Происхождения какого? – допытываюсь я. Мне интересно, я в тундре всего второй раз. Но уже чувствую, как страшно давит меня красота здешних мест. Она нереальная, жесткая – голубая быстрая речка, окаймленная неширокой полоской свежезеленого, летнего северного леса, за ним – широчайшее серое пространство болот. Вдалеке над всем мирным пейзажем жутко нависают Ловозерские тундры – голубые горы со сметанно стекающими с вершин белыми снежниками.

– Из Коми мы, с Ижемского района. Сюда пригнали нас оленей пасти, на Кольский. Восемь детей было. Осталось два. Вот тебе и коммунизм.

Дед Андрей помрачнел и внезапно замкнулся. Пришлось подлить ему в стакан разведенного спирта.

– А как места здесь вообще, интересные?

Я сам немного знал, читал, но хотелось услышать от местного жителя. Местные чем и хороши для пытливого слуха – много разных тайн знают. Расскажут, если захотят.

Дед Андрей как-то по-особому остро посмотрел на меня:

– Куда как интересные. Сейдозеро в стороне от вас останется, так что сейдов³ не много увидите. Но Куйва⁴ за вами присмотрит. – Он странно хихикнул: – Скалы пройдете, Праудедки называются. Рисунки там на скальные есть. Капища. Место особое есть – Чальмны Варэ. Если дойдете, конечно.

Он опять помолчал, задумчиво жуя кусок мяса. Потом снова встрепенулся.

– Да нет, ничего жизнь была. Хорошая. Тяжелая только.

Дед обхватил граненый стакан широкой ладонью, опрокинул в себя. Затем медленно залез на огромный, в полдома, топчан, что тянулся вдоль всей стены. Пятнадцать человек легко могли разместиться на нем. Одежда, шкуры, но чистые. Не было в них заскорузлого запаха

² Сёй – ешь (коми).

³ Сейд – культовое сооружение, большой камень, установленный на несколько маленьких (саам.).

⁴ Куйва – верховное божество саамов, огромное изображение великана на одной из скал над Сейдозером (прим. автора).

человечьего отчаянья. Из грубых досок сколоченный, приземистый и крепкий, он казался очень уютным и теплым – за стенами продолжал бушевать ветер, окошко текло водой дождя. Было слышно завывание озера Любви.

Володю увела куда-то баба Лена. Он всю жизнь прожил среди степей, украинец по национальности. В лесу, в тундре – первый раз. Поэтому порой наивен, как новое ведро на краю колодца, – стоит, сверкая солнцем цинка, на краю, не зная о грядущем полете вниз. Хорошо, что есть цепь.

Мне не спалось. Тот самый мандраж, невероятный для сорока лет страх, который поселился в душе задолго до похода, не давал ни на минуту расслабиться. Лишь иногда получалось на мгновение задушить его глубоким, колодезным глотком алкоголя, но и тогда он лишь помогал упасть в оленьи шкуры сна, пробуждение от которого было еще более пугающим.

Я не знал, почему так в этот раз. Позволял себе немного догадываться. Но никак не мог окончательно определиться.

Дед Андрей похрапывал на топчане. Я в очередной раз достал из рюкзака карту и описание маршрута. Развернул карту и стал всматриваться в заученные изгибы рек. Одна из них носила странное имя – Афанасия. Ко второй, огромной, безлюдной и величественной, – предстояло прийти. Поной – Собачья река в переводе с саамского. Не самое веселое имя...

Не знаю, что за странная прихоть ведет меня на Север. Она неодолима. И часто, опять собираясь, укладывая вещи в рюкзак, думаешь со страхом и упованием – бесы ли манят, промысел ли божий. Так и мучаешься в сомнениях, пока не дойдешь до края, где открывается всё. Там узнаешь – благодарить или бежать.

Я еще раз прочитал описание маршрута. На сгибах уже начали протираться дыры. Да, безлюдье на сотни километров. Да, четвертая категория. Да, на сплавах предыдущих лет погибло одиннадцать человек. Но неотвратимо и ласково манила зелено-голубая карта северных земель. Были в ней обещание и загадка, как в красивой испуганной женщине, уже покорной, уже сдавшейся. И нужен очень трезвый глаз, чтобы за нежной податливостью этой суметь увидеть мгновенный острый стальной взгляд из-под трепещущих в страхе ресниц.

– Мама, я знаю, что нужно делать, чтобы мальчик за тобой погнался, – говорила одна четырехлетняя прелестница моей знакомой. – Нужно подойти, улыбнуться и побежать...

Всё, хватит. Карту опять в рюкзак. Сапоги на ноги. В дверь, наружу. На мне брезент энцефалитки, на поясе нож, в ногах твердость, в груди – решимость, в голове – задор. Сделав глоток спирта и закусив куском оленины, я вышел из дома.

Посреди белой ночи, в северной глуши стояла черная избушка. Черная она потому, что стены из тонкомера снаружи обтянуты толем – таков кольский стиль. Поверх толя зачем-то маскировочная сетка, скорей всего, для красоты. Низкая крыша из почерневшего от времени шифера была полого – сугробы снега наверху давали зимой лишнюю толику тепла. Маленькие окошки тоже берегли жизнь от лютого холода. Хлипкая изгородь, сплетенная из тонких березок, – не от человека или зверя. Задерживая снег, она принимает на себя удары ветра с озера. Еще был огород – два метра вскопанной земли, из которой торчала пара былинки лука да робко пробивались листья клубники – ягод нужно было ждать к сентябрю.

Курьих ножек у избушки не было. А может, и были, просто она низко, нахохлившись, присела на землю.

По двору бродили две добрые собаки-лайки. Я сразу подружился с ними за оленью кость. Поодаль была привязана собака злая. Помесь сенбернара и кавказской овчарки, она когда-то была сильно обижена людьми. Поэтому бросалась молча, без предупреждения. Лишь внезапный звон толстой цепи мог спасти от смертельной опасности. Которой не почуял черный кот Василий, и спина его была без шерсти – страшные зубы сорвали шкуру с обоих боков и сверху. Теперь кот был черно-розовый, непонятно как выживший, но по-прежнему ласковый и жду-

щий рыбы. Добрые собаки иногда шутиливо прихватывали его то за голову, то за шрам. Он игриво отбивался, не выпуская когтей. Цепь же обходил далеко.

– Пойдем, Володя, я тебя с собачкой познакомлю. Чтобы не покусала случайно, – донесся из-за изгороди голос бабы Лены.

Следом за ней покорно шел Володя. Бывший чемпион по плаванию, двухметрового роста, он по жизни был слегка задумчив – водная среда медленнее, тягучее воздуха. Длинноволосый, с черной бородой, он для пущей красоты надел в лес спортивный костюм, память былых достижений, с золотой надписью *Kazakhstan* на спине. Основные же цвета его были желтый и голубой, символизируя, возможно, происхождение бывшего пловца. «Ну что, пираты в городе», – так приветствовал его вчера первый встреченный на кольской земле. Действительно, большая серьга в ухе Володе бы очень подошла.

Еще когда собирались дома, я много говорил про Север. Про тревоги и опасности. Про то, что непонятно на самом деле, как зайти на Поной, слишком много изгибов на пути к нему. Что так же непонятно, как с него выйти, – река впадает в Белое море у самого горла его, на границе с Баренцевым, где из жителей только пограничники, а из возможных средств выброски лишь теплоходик «Клавдия Еланская» с таинственным расписанием да вертолеты, возящие американских рыболовов на элитную рыбалку. «Выход, похожий на вход», – глубокомысленно изрек тогда Володя. А я принялся шутить.

– Володя, на пограничников надежды мало. На «Клавдию» меньше того. Один реальный выход – суровый вертолетчик. Ты, красивый и видный мужчина, должен суметь очаровать вертолетчика. Денег для алчного Икара у нас мало. Поэтому придумай что-нибудь.

– Выход, похожий на вход, – уже радостно хохотал Володя. Отчего бы не поскабрезничать двум взрослым мужикам. Но больше смеялся я, когда в магазине продавщица протянула Володе голубой спальник, внутренность которого была отделана веселой байкой с пушистыми котятами на ней. Володя хмурился уже. От другого спальника – траурно-черного цвета – отказался наотрез.

И хохотали в голос уже вместе, когда в другом суровом магазине для настоящих мужчин не оказалось брезентухи Володиного немаленького размера. «Вот это возьмите, тоже помогает от клещей...» – В руках у девушки была сеточка на голое тело, что так выгодно может обрисовать спортивный мужской торс.

– Суровые вертолетчики крикнут радостное «Хэй!», увидев красивого тебя. И вывезут куда угодно. А я уж с вами в уголке!

Вот что в Володе особенно хорошо – он никогда не обижается. В походе это очень важно.

Всё почему-то быстро вспомнилось, пока я наблюдал, как маленькая баба Лена властно ведет большого Володю к привязанной на цепь собаке.

– Кровавик, – она сунула ему в руку зеленоватый с красными пятнами камень. – «Саамская кровь» называем. Подарок тебе.

– Познакомься, Бэрик, свои, свои. – Баба Лена стала сильно гладить пса, пригибая его голову к земле. Тот тихонько рычал. – Володя, не бойся, наклонись, погладь собачку, – какие-то особые ноты появились в ее резко помолодевшем голосе.

Володя послушно нагнулся. Как удачно спикировавшая чайка, взлетающая вверх с добычей, навстречу большому мужчине взмыла баба Лена и впилась в большие Володины губы тяжелым, сильным поцелуем.

От неожиданности и ужаса мой друг на секунду замер, а затем навзничь опрокинулся на спину, стремительно, по-заячьи, перевернулся и на четвереньках ринулся прочь.

– Куда, куда, стой! – Баба Лена пыталась прихватить его за желто-голубой костюм, но он вырвался и колом закатился за угол избушки. Затрещали сучья.

Баба Лена оглянулась, поправила седые волосы и вернулась в дом. Минут через десять, так и не отойдя от увиденного, туда же зашел и я. Еще через десять минут осторожно протис-

нулся запыхавшийся Володя. Дед Андрей не спал, сидел на лавке. Баба Лена снова накрывала на стол.

– Это – моя женщина, – мрачно сказал дед Андрей испуганному Володе, и тот лишь смысленно моргнул большими понятливыми глазами.

Остаток ночи прошел в полубреду. Снова разгулялся ветер за окном. Снова пошел дождь. Чуйка не подвела меня, и я лег с краю топчана, ближе к стене. Приятель мой казацких корней говорил: чуйка, мол, палочка такая с черной ленточкой. Когда за убитого казака мстили, то на могилу ее ставили, отомщен, дескать. Но я и другое знаю: чуйка – это чувство такое. Лучше его слушать.

За мной пристроился Володя. Дальше лежал дед Андрей. Он снова выпил и камлал всю ночь. То вдруг начинал умолять тоненьким голоском: «Не трогай, не трогай меня, я нормальный мужик». Потом затихал на десять минут. Я сразу проваливался в сон. И просыпался от его грубого и тяжелого, как холодная вода, приказа: «Лежи тихо. Жди». Волосы начинали шевелиться у меня. Сзади беспокойно ворочался Володя. Дед Андрей опять затихал, чтобы через новый промежуток зашептать: «Володька, Володька, вставай, налей деду».

Бабы Лены было не слышно. Но я знал, чувствовал, что она не спит, что она где-то рядом и внимательно смотрит сквозь темноту холодными, острыми глазами. А потом вдруг раздавалось ее тихое пение:

Поп Варлаамий во гроб госпожу,
Как к венцу, снаряжал.
Космы пьяные ей на челе
Благочестно сплетал:
– Спи, жена иереева,
Спи, краса несказанная!

Всё это повторялось раз за разом. Я не знал уже – во сне или наяву. Ужас был на дне темного провала, куда я летел в забытие, но, вздрогнув и проснувшись, я понимал, что наяву страшнее. Приснилось ли, вспомнилось ли, но я вновь увидел, как ты пила мою кровь. Мы расставались, вернее, уходила ты. А мне было нужно показать, что наплевать, что не боюсь ничего. Даже этого, что казалось равным смерти. Я был безбоязненным тогда. И браво водкой заливал лихое горе. Позвал на праздник друга своего, пьющего доктора. Мы выпили в машине. Я сходил в аптеку и купил капельницу. «Откачай-ка мне, братка, крови. Кровопускание должно помочь». И когда набралось пол-литра, взяли еще водки и пошли к тебе. Мне так хотелось напугать тебя каким-нибудь особенным путем. Я смешал водку с кровью и грубо приказал: «Пей!» И всего ожидал – слез, страха, негодования, рвоты. Но не смеха. Ты смеялась и пила. Одну рюмку, другую, третью. Смеялась, внимательно глядя мне в глаза холодным, острым взглядом...

Наконец настало утро. Чуть только свет белой ночи сменился солнечным лучом, прорвавшим вдруг тяжелые тучи Ловозера, мы с Володей одновременно вскочили на ноги. Тихонько выскользнули из избушки, умылись живою серою водой. Прокрались обратно за вещами. А на плите уже всюю кипел чайник. За столом улыбочиво сидел дед Андрей. Баба Лена резала пластами розовое, прозрачное мясо большого жирного сига.

– Садитесь завтракать. – Дед Андрей был явно в духе. – Володька, налей деду.

– Сёй, сёй. – Баба Лена щедро накладывала на тарелки неземного вкуса яство.

– Я вот что думаю. Далеко-то я вверх не ходил. Покажь-ка карту. Да, Марийок, потом еще километров тридцать. Волок. Койнийок. Тяжеленько вам будет, – радостно заключил дед. – Но один точно вернется. Не знаю, как хохол, а русак вернется точно!

– Куда, как вернется? – Я подлил старику еще, но тот лишь широко улыбнулся в ответ.

– Дед, а может, ты – смотритель реки? – Володя настороженно спросил.

Тот снял с лица улыбку и сказал вдруг серьезно и жестко:

– А ты больше никогда так не говори! – И через минуту молчания: – Ну, с Богом! Длинный путь.

Мы быстро собрали байдарку. Кинули вещи, погрузились сами. Мякнул на прощанье Васька-кот. Залаяли лайки. Зазвенел цепью сенбернар. Я оттолкнулся веслом от близкого дна. Володя покачнулся, сидя в носу со вторым веслом.

– Задницей, задницей равновесие лови! – крикнул я ему главный байдарочный секрет.

– В жопу поветерь! – сказал дед Андрей и обнял бабу Лену за плечи.

Через несколько гребков мы были далеко, и, с трудом обернувшись в узкой лодке, я увидел две маленькие уже, пристально глядящие нам в спину фигурки. Рядом бегали собаки, и черно-розовой запятой вился возле ног кот.

1971, Крым

Гроздь виноградная была ярка, светилась изнутри, словно состояла из нескольких десятков маленьких электрических лампочек, выкрашенных в светло-изумрудный цвет. Она тяжело висела над грубым, струганых досок столом с двумя скамейками по сторонам. Скамейки, как и сам стол, держались на толстых чурках старой, мучнисто-серой древесины с тонкой окаемью сыро-черного у самой земли. Если бы Гриша умудрился улучшить момент и забраться коленями сначала на скамейку, а потом, тревожно оглянувшись, на столешницу, то оставалось бы всего лишь встать на ноги и, вытянувшись на носочках, сорвать виноград. Но за столом с утра до вечера сидели взрослые мужчины, играя то в карты, то в домино, а ночью Гриша должен был спать. Поэтому уже несколько дней, словно маленькая упрямая акула, он то сужал круги, то расширял их, но никогда не забывал о винограде. Дома он пробовал его не однажды, но всегда по большим праздникам, которые приходились на конец лета, то есть на свои дни рождения. Этих праздников он помнил уже два, а судя по выученному возрасту – должен был быть и третий, самый первый, но был ли виноград тогда – никак не вспоминалось. Зато когда он был, Гриша наедался до отвала, хоть и оставалось всегда такое чувство, что в живот могло бы поместиться еще немного. Он ел его с косточками, с кожурками, и не понимал странных манерных тетенок, которые, куриной гузкой вытягивая губы, высасывали ягоду за ягодой и выплевывали в стыдливые ладони твердые сердечки. Виноград был иногда сладкий как чай, куда за спиной отвернувшейся мамы можно было насыпать сахару по вкусу, иногда покислее, но всегда вкусный, и, покончив с ягодами, Гриша еще обкусывал мягкие черешки, остающиеся на ветке, выдернутые изнутри, из прозрачной виноградной сути.

Ему опять не повезло. За столом сидели соседи, такие же постояльцы, и один незнакомый дядька. «Ты кто будешь», – недружелюбно спросил тот. «Я буду мальчик Гриша», – мама всегда говорила, что нужно быть вежливым, даже если не хочется. А сам подумал – можно, наверно, уже не говорить «мальчик», а просто «Гриша», так будет почему-то лучше и взрослее. Он повернулся, чтобы убежать, и тут мама удачно позвала на море.

Во-первых, море было недалеко. Во-вторых, купаться было не только приятно, но и полезно, что почему-то редко получается вместе. В-третьих, идти нужно было через базар, где мама всегда покупала что-нибудь вкусненькое. Про персики Гриша узнал только здесь, на юге, и очень обрадовался. Они были такие сладкие и сочные, что он впервые подумал о том, сколько еще в жизни будет можно приятно узнавать. Вот ведь – только приехали, а уже и море узнал, и персики, и виноград настоящий висит на ветке, его дожидается.

А когда пришли на пляж, он еще одно приятное увидел и сразу вспомнил – Марина. Они вчера познакомились, здесь же, на пляже. Мама сказала, что это девочка, а имя он сам спросил. Она сказала «Марина», и они стали играть вместе. Еще они купались, и тогда Гриша заметил, что чем-то она отличается от него. И вообще, смотреть на Марину было почему-то приятно, и он сразу захотел с ней дружить. Они вчера долго играли, и он к ней подбежал как к старой знакомой. Но Марина оказалась сердитая сегодня. Как будто даже его не узнала. Он и так с ней заговаривал, и эдак, а она надулась и не хотела играть. Да и купаться сегодня не хотела, так и сидела вся одетая и в большой панаме. Мамы их рядом свои покрывала постелили и разговаривали о чем-то, а он задумался, как бы Марину обрадовать. Потому что хотелось, чтобы как вчера весело стало и здорово, и чтобы она улыбалась и не дулась. И наконец придумал! Ему отец несколько дней назад поймал и засушил двух жуков. Один назывался «фаланга», а другой – «скорпион». Отец сказал, что они опасные, если живые, но мертвых их Гриша не боялся. Они были замечательные. Фаланга ему меньше нравилась, какая-то бледно-желтая, со смеш-

ными зубами впереди. А вот скорпиончик стал его любимцем. Темно-коричневый, какой-то весь ладный, словно лакированный, он спереди был похож на рака – такие же клешни. А на хвосте у него был шип с ядом, которым он врагов своих убивает. Это всё ему мама рассказала. Вот он такой и лежал в коробке, прекрасный и опасный, как танчик или какой-нибудь пулемет – клешни вперед растопырены, хвост над головой изогнут и нацелен, сам весь в броне своей – того и гляди атакует. Очень ему скорпиончик понравился.

Вот Гриша и придумал развеселить Маринку – показать ей своих замечательных жуков, а то и подарить кого-нибудь. Насчет подарить он, конечно, сразу про фалангу подумал, потому что скорпиона прямо всем сердцем уже любил. Уже думал, как домой приедет и перед друзьями хвастаться будет. А фалангу ему не так жалко было. Но Маринка хитрая, сразу всё увидела – кто есть кто. Ей тоже, конечно, скорпион понравился. Она сначала завизжала, чтобы показать, как ей страшно, а потом легла рядом с Гришей и рассматривать стала, и он ей всё рассказал. А потом и подарил скрепя сердце, очень уж ему Маринка нравилась, даже больше скорпиона.

Потом наступило счастье. Маленькие печали, которые Гриша уже знал, куда-то разом исчезли. Марина стала веселая и добрая. Мамы их увлеченно болтали о взрослом, а они стали делать всё, что хотели. Сначала побежали и стали купаться в маленькой соленой луже, отделенной от моря полоской сырого песка. Там купаться им разрешали без взрослых, потому что лужа была совсем мелкая, а вода в ней теплая как мамины руки. Они брызгались и смеялись, и Гриша научил ее строить домики из песка, когда берешь его вместе с водой и струйкой льешь сквозь ладони, и башни у домов поднимаются всё выше и выше. Иногда набегала волна побольше, и дом медленно оседал под ее наплывом – тогда становилось чуть печально. Марина вдруг с визгом принималась убегать от него, но он бежал быстрее и всегда ее догонял. Тогда они падали на песок, не вставая, валялись на нем так, что становились похожи на песочных человечков, после опять бежали к воде, и песок медленно опадал с тела, которое снова становилось чистым. Солнце грело не очень сильно, не жгло, и никто не заставлял надевать панамы. А Маринына мама сказала ей совсем раздеться, и Грише почему-то опять стало интересно и радостно. Он-то сам давно бежал голый, и, когда никто не видел, показал ей, как нужно писать. Ветер тоже был хороший, нежаркий и совсем легкий, а когда Гриша внимательно посмотрел подальше в море, то увидел, что где-то далеко они с небом становятся очень похожи, так что и не различишь, где есть что. И удивился этому, и Марине тоже показал, но она не поняла, про что он. Еще долго играли так, но потом мамы закричали, что хватит, совсем синие, хотя никакие синие они не были, обычного кожаного цвета, но пришлось вылезать из воды.

Тогда легли вместе на одно покрывало и стали опять рассматривать скорпиона, и мама надела Маринке черные очки, тогда та стала какой-то таинственной и еще более красивой. И так хорошо было Грише всё это, что ни разу даже пить не захотелось, и про персики он совсем забыл, только когда мама их достала – вспомнил, и честно с Мариной поделился – кусали друг за другом, и сок вкусно тек по лицу, и в носу становилось щекотно от свежего сладкого запаха, и если кто-то чихал, то вместе смеялись, хоть мамы и говорили сразу, что в воду больше ни ногой. А солнце грело спину так хорошо, что хотелось что-нибудь сделать смелое и смешное одновременно, чтобы она смотрела на него, чтобы было так всегда. Казалось, что так будет всегда.

Потом дядька какой-то пробежал к морю мимо них и наступил на коробок. Тот весь сплюснулся так же, как у Гриши внутри всё испугалось и сплюснлось. Он как-то даже не успел ни о чем подумать. Схватил коробок и открыл, а от скорпиона остались только маленькие, шоколадного цвета обломочки. Он даже заплакать не успел, потому что Маринка закричала, зарыдала изо всех сил. Это ведь ее уже скорпион был, подаренный. Ты всё виноват, кричала, из-за тебя всё, а он вдруг замолк совсем, потому что и не ожидал никак. Нечестно она закричала, хоть и жалко ее стало, и скорпиона тоже, но ведь дядька же наступил. Нет, ты виноват, рыдала,

и лицо ее как-то некрасивым сделалось, сморщенным. Я всё маме расскажу, и уже бежала ябедничать, а Гриша пытался ее догнать, чтобы всё-таки объяснить, но в этот раз не получилось успеть, да она и слушать не хотела. Только крикнула, что не хочет больше дружить и никакой он не интересный. Тут все и собираться начали, чтобы уходить. И всё кончилось. И в носу щипало уже не от воды, не от персика, а оттого, что он-то всё еще хотел с ней дружить, и так хорошо им было, только уже и говорить некому – ушли с мамой своей и даже не оглянулись.

И Гришина мама стала собираться – пойдём, говорит, отца поищем, что-то долго он не идет. Они пошли сначала вдоль моря по пляжу, а потом немного подальше от него, поближе к базару. Там папку и нашли. Он лежал еще с каким-то дядькой и двумя тетеньками на покрывале, разговаривали и пиво пили. Или вино, Гриша пока не знал разницы, оба невкусные. Тетеньки ничего были, красивые, но мама лучше. Они просто разговаривали, но тут мама сделала такое строгое лицо, что хоть плачь, и папке что-то сказала, отчего он весь скукожился. И Гришу за руку дернула сильно, очень быстро они к дому пошли, так что ему почти бежать приходилось. А мама теперь его ругала, что он ногами пылит, или хнычет. А Гриша и не хныкал вовсе, думал просто о том, как ужасно и нечестно всё – сначала Маринка, теперь вот его из-за папки ругают. Он-то не виноват совсем, и вел себя хорошо, слушался целый день, завтракал что сказали. Он ведь и про солнце знает, что это шар раскаленный, и про скорпиона, и вообще про многих насекомых – как кто называется. И его ругают, такого умного и послушного. Вспомнил о скорпионе – опять слезы на глаза навернулись, но не заплакал, сдержался. Только так обидно всё получилось, так нечестно и несправедливо, как, наверно, никогда в жизни еще не было. Самое главное – все говорили, веди себя хорошо, и будешь хороший мальчик. А на самом деле всё не так оказывается. Не понимал этого Гриша, сильно думал и не понимал.

Когда к дому пришли, мама опять наругалась за то, что камень красивый хотел с дороги подобрать. Во дворе его оставила, стой здесь, сказала таким злым голосом, что даже на лицо ее страшно смотреть было. И чем-то Маринкин голос напомнил. Сама в дом ушла. Потом пришел отец, Гришу по голове погладил и тоже в дом пошел, а спина виноватая, как у собаки базарной. Грише его жалко стало, подумаешь, поговорил с каким-то дядькой да пиво попил. Гришина б воля, он ему это разрешал бы каждый день делать, ничего страшного. Только в доме родители ругаться начали, а Гриша заскучал. Он сначала сильно переживал, когда они ругались, а потом привык немного, видел, что не совсем всерьез они. Сначала наругаются, а потом ходят, целуются.

Стал он по двору ходить. Посмотрел на куриц хозяйских за загородкой. Камень большой перевернул, за муравьями понаблюдал, как они свои яйца в норки потащили. Палку хорошую нашел, как меч прямая. И только потом вдруг заметил, что нет никого за столом дворовым. Первый раз такое увидел. Никого за столом и во дворе пусто. А наверху по-прежнему висела, сверкала, переливалась виноградная гроздь. Была она яркая и словно светилась изнутри, словно говорила – съешь меня. Гриша оглянулся. По-прежнему пусто во дворе. И тогда решился. К скамейке ящик подтащил, что у дома валялся. Высокая скамейка, но залез, только коленку о край шершавый ободрал слегка. Лез и думал, что не всё в жизни плохо. Что, наверное, это и есть то, ради чего нужно себя хорошо вести. Подождать, оказывается, нужно, тогда и случится заслуженная радость. И весь день плохой станет хорошим.

Потом на стол со скамейки перелез. Немного страшно было, но не упал. Страшно еще, что кто-нибудь выйдет и заругает. Хотя виноград этот ему, Грише, предназначен был. Он это давно понял, как только первый раз увидел. Такой уж замечательный виноград, и растет сам, и зовет. Встал Гриша на столе. Гроздь теперь совсем рядом оказалась, прямо перед лицом. И до чего ж она хороша и вкусна была вблизи, гораздо лучше, чем издали.

Сквозь прозрачную кожурку, сквозь дымчатую мякоть разглядел Гриша даже темные маленькие сердечки косточек, таких терпких на вкус. И сами ягоды так дружно друг к другу приникли, как будто разлучиться боялись, как будто знали, что самое страшное в мире – разлучаться. И вся гроздь была такой замечательной продолговатой формы, такая плотная и аккуратная на вид, что Гриша аж зажмурился. Какое-то прекрасное счастье обрушилось на него, обдало с ног до головы, как морская соленая волна. Такое счастье, что не было ссоры и непонятностей с Маринкой, и родители не ссорились, и погода всегда была хорошая, солнце ласковое, ветер прохладный, а море теплое. Такое счастье, что знаешь точно – оно не кончится и всегда будет. Такое счастье, что очень понятно – будь хорошим мальчиком, и воздастся.

Гриша открыл глаза. Протянул руки и взял гроздь в ладони. Она была прохладной и тугой как любимый, ярко-раскрашенный мяч. Гриша подергал ее. Гроздь не отрывалась, пришлось покрутить, и тогда в руках оказалась драгоценная тяжесть. Он с легким хрустом отделил одну ягоду и благодарно взял ее в рот. Счастливо улыбаясь, надавил зубами. Рот наполнился жгучей, едкой кислотой. Гриша сморщился от горечи, от боли, от обиды – и наконец заплакал.

Середина XVI века, с. Кереть, с. Кола

Ох, и смешно же мне, братие, теперь, хоть и прошло времени совсем мало. Смеюсь я слезами, и ветер острый срывает их у меня со щек и бросает в море подобно дождю мелкому, ничтожному. Смеюсь я над собой, над чаяньями своими, ожиданиями и надеждами, ибо не то человек существо, чтобы надеяться. Нет у него права такого – думать, что воздастся ему за дела благие. И только пройдя испытания многие, понимать начинает, что верой спасаться должен, а остальное отринуть, ибо слишком жесток мир, слишком мало в нем любви, и справедлив Бог в человецех – смири гордыню свою.

Был я, братие, Варлаам, Кольский священник. И хоть говорили мудрые, силу и радость мою видя, – ты, Варлаам – шаламат словно, живешь слишком вольно, сам себе на заклатие, ничего не боишься, страха не ведаешь – не слушал я их. Ибо всё, почитал, есть в силах человеческих и благоволения божьем. Как же хорошо жилось мне на родимом Севере. Всё Бог мне дал – веру дал, надеждой не обделил, крепостью тела своего вдохновлен я был. А пуще всего благодарил я Отца нашего за свою Варвару. Такое чудо была она, такая красота, что порою не верил я своему счастью и вопрошал ночами белыми, бессонными – мне ли это, не ошибка ли, за подвиги какие? Но в гордыне своей успокаивался, и отвечал себе – мое. Потому что не только красотой телесной блажила меня, но и всей душою своей, казалось, ко мне стремилась. Так и жили мы счастливо, и летом текла рядом Кола-река, а зимой замерзала, но пищу давала, красоту и удовольствие – семужкой баловала, медленным бегом своим среди сопков взор услаждала, и гостей приводила всяких, добрых людей в основном, чтобы интерес мой к жизни разнообразной удовлетворить. А зимой, хоть и холодно у нас, но всё радость – то баньку истопишь да в бодрящую прорубь окунешься во славу Господа, а то лыжи наденешь да на охоту за зверьем малым и большим. И служение свое искренне я правил, людей уча в бедах и радостях хвалу Создателю возносить. Верил я благодарно, братие, да, видно, недостаточно.

Сильно кружит, колесом юлит Кола-река, словно жизнь наша – ни догадки, ни предсказа. Так идешь по берегу, по лесу светлому, сосновому, словно по кущам райским гуляешь, да вдруг глядишь – шаг за шагом попадаешь в дурную болотину. Мелколес кругом стеной встает, черная ольха да осина подлая, хлесь тебе по глазам тонкой веткой до слез, хлесь другой раз. И тут же комарья да гнуса рой налетает, в уши, ноздри, в рот лезет без счета, и такой писк оголтелый подымается, что через мгновение уже не писк, а вой кругом стоит. И бредешь во мхах, по колено в воду гнилую проваливаясь, плечами частокол цепкий раздвигаешь, горлом пере-сохши. Такой чепыжник настает, что и в голове твоей мутится, ничего не понятно, не знаешь ни сторон света уже, ни имени своего почти. Тогда только остановишься на миг, да переведешь душу, да к небу глаза подымеешь – Господи, спаси. И глядишь – успокоится сердце, и отчаянье уйдет, и налегке вынесет тебя из дурной этой чепыги, и в прошлом останется страх. Только впредь не угадаешь никак, когда и где снова занесет тебя в лихие места, и смутит нечистый душу. И усомнишься.

Так за счастьем своим, братие, не заметил я вовремя неладного. В нашей стороне изначально так – нельзя никогда взгляд свой рассеивать, сторожко нужно к миру присматриваться. А забудешься чуть, размякнешь душой – тут же обнакажет тебя так, что волком выть будешь, а поздно уже – проехали. Только когда стал я замечать нехорошее, уже давно всё случилось. И знали все вокруг меня об этом, да молчали, за спиной злые языки свои теша. А я как младенец был невменяемый. Потому что любил очень Варвару свою. Ведь как учат умные – любишь – не доверяй всё равно, ибо враги люди и нет промеж ними любви истинной. А мы же гордимся – «есть» кричим, и душу за милых своих продаем. Стал я замечать, что Варвара не в себе вроде временами становится. Норов ее как вода в реке менялся – светит солнце – светла вода, чуть тучка наплывет – чернее черного становится. И глаза прятать стала от меня, не испуганно, а с

думой затаенной. Я и так ее спрашивал, и эдак – молчит, а и ответит что – сама далеко-далеко от меня. Так и гнал я от себя дурные мысли, гнал и верил ей, как себе, как матери, как Богу.

Маетно мне было в тот день. Не на месте душа, хоть и службу правил усердно, и работой пытался удушить тревогу. А всё равно – кричали чайки так жалобно, так пронзительно, что сжималось всё внутри в предчувствии недобром. Варвара с утра в близкий поселок ушла, соль у нас кончалась, а скоро семье идти. И долго ее не было, уж солнце на сон пошло. Не выдержал я, собрался мигом и вослед, а сам ругаю себя – зря отпустил человечка слабого среди природы злой и людей недобрых. До поселка добрался как долетел, аж весла в руках гнулись. Там искать кинулся, спрашивать. Только не говорит никто, все глаза отводят с ухмылкой странной. Наконец не вытерпел, за грудки схватил прихожанина бородатого, тот и показал тогда на корабль норвегов, что на недалеком рейде стоял.

Я опять в лодью, да к кораблику тому. Подплыл, а там шум, гам, веселье, ни вахты, ни приличия, шатается пьянь-сбродь по палубе да по кубрикам таскается. Человек семь их там было, и среди них Варвара моя. Я сначала даже не узнал ее. Волосы распущены, глаза бесовским огнем горят, щеки румяные, да не от стыда, а от веселья низкого. И хватают ее пришлые люди, и таскают, а ей всё в радость, то с одним кружит, то к другому прильнет как к другу любезному. Тут меня заметили, сгрудились все, и она среди них. Пытался увещевать ее, да недолго – хохочет, как ведьма, в руки не дается, волчком кружится. И пришлые, нерусские залопотали что-то по-своему, ко мне двинулись. Забыл я Бога в тот миг, забыл веру свою и упование. Только гнев черный внутри остался и поднялся волной наливной. Затопил всего меня внутри, глаза застил, в руки свинцом налился. Схватил я тогда бочонок малый, двухпудовый, что с вином на баночке⁵ стоял, и в толпу кинул с размаху. Разметались они, как брызги зелья по палубе, к переборкам⁶ прижались. А мне уж не остановиться было – попал в руки якорек маленький и пошел крушить направо-налево, кто сопротивлялся – тому с бо льшим пылом, скулящих тоже не жалел. Ее первую убил.

Как очнулся немного, не стал думать долгого. Разом кончилось всё для меня, жизнь моя, любовь моя, всё дьявол забрал и меня с собой прихватил. Завернул я Варвару мою в кусок холста, который рядом, будто нарочно уготовленный, лежал, положил на нос лодьи своей и от борта страшного оттолкнулся. И пошел, сначала по кольцам Колы-реки, потом в залив, а потом и в моря северные. Не было мне места больше на земле этой, и пусть пучина меня пожрет. Ведь вечным укором передо мною любимая мертвою лежит, сквозь холстину родными очертаниями светясь, а сзади – посуда чужая, кровью до бортов мной заполненная. Не знал я раньше ничего про дорогу страшную, да в момент узнал. Прости, Господи, душу грешную.

Ох и смешно же мне, братие, было. Смеялся я слезами, и ветер острый срывал их у меня со щек и бросал в море, подобно дождю мелкому, ничтожному. Смешно мне было и путешествие мое внезапное, и благополучие недавнее, и волна морская с перехлестом, и небо серое над головой, и груз мой страшный на носу лодочном. Смешно мне было несколько дней. Но не дал Господь мне в сумашествии облегчения, разума не забрал, а понудил до конца путь свой идти, в рассудке и отчаяньи. И когда понял я это – пропал мой смех, и стал я дальше жить в молчании мрачном и упорстве. Решил я, ничтожный, что понял замысел божий, и стал к северу лодью свою править, подальше от земли и людей. Не было мне прощения ни от них, ни от себя, и наказан я должен быть примерно – ледяными пучинами поглощен без остатка и памяти. Не помню теперь, сколько жил так – в ожидании бесчувственном. Всё молил Бога о смерти скорейшей, ведь каждый новый день начинался с вида укрутка страшного на носу, и каждая ночь воспоминаниями полнилась. И кричал порой криком звериным от тоски и боли душевной, но равнодушно волны мои крики слушали. Шторма страшные видел я, братие, где требуха воды

⁵ Банка – лавка, скамейка (морск.).

⁶ Переборка – стенка (морск.).

взрывалась, вздымаясь бешено и небесам грозя. И радовался каждый раз, конец своим мучениям узрев. Но словно сила неведомая мою лодку над бездной поднимала и дальше несла. И богохульствовал я, кляня жестокого, и бился в корчах, и засыпал потом обессиленный, а когда просыпался – спокойно море было кругом, и я дальше жил. Голодал я много дней, и воды не пил, да потом моря северные кормить и поить меня стали, хоть не просил я их. То капуста морской шторм надерет да к лодке моей прибьет, то к отмели меня принесет, где накопаю пескожилов, да потом знай снасть в воду закидывай – треска валом шла. Снасть свою из холста я ссучил, что груз мой покрывал, да крюк из гвоздя сделал. Грубая снасть получилась, да только такой рыбной ловли богатой я в жизни не видывал. Из рыбы и сок выжимал пресный, пил его, а потом и дожди стали воду мне приносить. Не хотел Господь быстрой смерти моей, не бывает так – отомолить грехи и не мучиться.

Долго я ходил по морям, покоя не ведая – внутри рвалось и кричало всё, снаружи руки без устали трудились делом морским. Только донесло меня до горла Белого моря, узнал его по рассказам прошлым. Славилось место это червями морскими, что дерево корабельное точат в труху, и тонут здесь корабли без счета. Вот куда привел ты меня, Господи, вот смерти какой мне уготовил. И опять в гордыне своей ослеплен был, и радовался, что прозорлив. Только прошла моя лодья через горло, и ни одного червя я на ней не увидел, целехонька она была, словно из рук мастера только вышла. А потом ветер был малый, ласковый, и порывом теплым и резким сорвал вдруг холст с носа лодочного, и зажмурился я в ужасе. А когда глаза осмелился открыть – не было ничего. Унес ветер прах истлевший, и любовь мою с ним. И понял я, что другой мой путь – не в смерти, а в жизни спасение искать и трудиться вечно, неустанно, помня всё, здравствуя, других устерегая. И воздал в слезах славу Господню.

Тут открылась мне бухта малая, где посреди скал и лесов благодатных живая светлая река в море впадала. Закончилось мое странствие. Речку эту Кереть называли.

Ничуть меня одиночество не тяготило. Поселился я в местах этих благодатных, и пение любой пичуги лесной было милее мне, чем голос человеческий. Род наш только и терпеть можно из-за детей наших да животных всяких, что тоже нам родственники, а значит, в чем-то оправдание наше. В остальном же народец мы пакостный, и нужна, ой, нужна нам милость божия – без нее смысла нет существованию. Но живем мы, суетимся, делаем что-то – всё не зря, есть в этом промысел, только недоступен он скудоумию нашему, значит, на веру должны принимать многое, иначе занесет нас в гордыне куда Бог весть. Так и я жил с памятью о страшном, с болью в душе и с надеждой ласковой. О питании не думал – всё под рукой уготовлено было. Одну вещь натвердо запомнил из жизни своей и опытов, мне данных – радостнее, легче, когда жалеешь. И потому молился ежечасно – Господи, прими слово мое за детей и животных!

1978, п. Пряжа

Хорошо было впервые остаться за старшего. У взрослых была свадьба. Не у всех. Дядь Игорь женился на своей молодой красивой Вале. Все остальные были гостями. Долго собирались с утра, суетились. Нервничали. Возбужденная малышня носилась под ногами. Лишь младший Гришин брат, трехлетний Константин степенно сидел за столом и пил чай. Он сызмальства был важен и рассудителен, всегда долго думал, прежде чем что-нибудь сделать, сотворить. Поэтому многое у него получалось правильно, за что и любили его родители. Остальные же, шумные и разновозрастные, не понимали, что праздник этот – не про их честь, и останутся они дома под Гришиным присмотром. Ему-то об этом сразу сказали, и подходили все с наказаниями, то мама, то бабушка. В печке не шурудить, на улицу маленьких не пускать одних, покормить вовремя, всех завалить на дневной сон. Знаю, знаю, – Гриша уже устал отвечать. Как будто не понимают они, что он уже большой и ответственный.

Наконец собрались все. Дед последним уходил, внимательно на Гришу посмотрел, но ничего не сказал. И пошли они по дороге веселой нарядной толпой. До деревни от хутора недалеко было, так что пешком. Один дядь Игорь на мотоцикле раньше умчался, весь счастливый и испуганный.

А Гриша хозяйничать принялся. Малышню расшумевшуюся быстро успокоил, кому игрушки в руки, кому – подзатыльник. Немножко ему Светка помогала, сестра двоюродная. Она хоть и младше на пару лет была, но ничего, соображала. Вместе с мелочью позанимались, потом покормили всех, уложили спать. Сами немного в шахматы поиграли. Стало скучно. Сходили на речку – тоже ничего интересного. Он тогда и вспомнил, что знает, где у деда боеприпасы охотничьи хранятся. Во втором ящике комода, который на ключ закрывается. А Светка вдруг сказала, что знает, где дед ключ прячет. На гвоздике, высоко за занавеской. Гриша даже думать не стал почему-то – можно, нельзя. Сразу в дом побежал и ключ нашел. Светка с ним увязалась. С сердцем, тревожно и радостно в груди колотившимся, открыл он ящик. А там богатства Алладиновы. Гильзы, пыжи, дробь он немного в руках повертел, да и назад положил – неинтересно. Пулями больше позанимался, себе несколько взял, и Светке одну дал – за сотрудничество. Потом открыл небольшую коробку – а там капсулы сверкающие, золотом переливающиеся. А рядом, в банке жестяной – порох, полная банка. Вот это уже совсем по-другому, по-взрослому. Тут Гриша от радости совсем забыл и стыд, что в чужое залез, и страх – что запретное берет. Отсыпал себе капсулей полную пригоршню, да пороха щедрую жменьку в газетный кулек. И побежали они со Светкой на улицу, капсулы взрывать. Он знал, как это делать, во дворе парни приносили как-то. Весело было. Кладешь капсулю на камень, сверху маленьким бульжником хлоп. Треск, грохот, благодать. Это тебе не пистоны детские шелкать. Другая радость.

Так он полчаса пораздовался, отвел душу. Но капсулей много было, а компании подходящей нет, Светка не в счет – маленькая еще, да и девчонка к тому же. Наскучило Грише. Пошел он в дом. Светка следом. Открыл печку. Там угли красные, полыхают жаром. Взял остатки капсулей да и швырнул в печь. Дверцу еле закрыть успел – то-то грохот пошел. Он даже испугался слегка, но потом смотрит – ничего, потрещало да и затихло. Странное у него настроение стало. Какое-то бесшабашное полное, голова совсем думать перестала. И всё больше грохоту и веселья хотелось. Взял он тогда пригоршню пороха из кулька своего, да тоже в печку. Тут уж серьезно рвануло. Печь аж дрогнула. Дыма порохового клуб вырвался с ревом и в кухне повис. Светка взвизгнула громко. Да и сам Гриша одумался слегка. Хватит, подумал, уже хорошо повеселился. Больше грома не хочется. Посидел, дух перевел, а потом вот что придумал. Взял коробок спичечный, одну стенку, внутрь пороха насыпал. Молодец такой – порох загорится, сквозь стенку выломанную огонь вырваться будет, коробок полетит как ракета. Умница, всё

правильно рассчитал, недаром в школе учился да книжки умные читал. Всё сделал по-задуманному. Коробок на край стула положил, сам подальше стал. Светка тоже в отдалении держалась. Зажег Гриша спичку и сунул осторожно в коробок. Ждет, а ничего не происходит. Спичка горит, порох не взрывается. Что за чудо? Очень он удивился несуразности этой и наклонился посмотреть, как такое быть может. Заглянул сбоку в коробок. Тут и жажнуло прямо в лицо.

Так больно никогда в жизни не было. Даже когда с горки прыгал и губу нижнюю насквозь прокусил. Сел Гриша на пол у дверей. Лицо горит. Глаз не открыть – больно. Малыши проснулись. Плачут. Кругом дым висит, воняет как на поле боя. Хорошо, Светка вскинулась да за взрослыми побежала. Первым дед успел приковылять. Хромой, колченогий, дышит – хрипит, а первый. Гриша уже рыдать от ужаса начал. Дед схватил его на руки и понес во двор. «Скорая» быстро пришла. Пока дед до машины ковылял, Гриша сквозь собственный вой слышал, как дед его словно укачивал, и говорил всё, говорил: «Ах ты, сиг-залётка. Сиг-залётка...»

Потом Гриша был одноглазым. Это дворовые друзья его сразу так прозвали, только он первый раз вышел из дома с повязкой на пол-лица. Глаз, к счастью, выжил. Второй почти совсем не пострадал, видимо, умел жмуриться гораздо быстрее первого. Сильно обгорела кожа лица, но и она, пройдя стадию волдырей и красного мяса, стала вырастать сама из себя, вновь становясь чистой и розовой. Все считали, что Грише сильно повезло, и постоянно говорили ему об этом. Назидательность – одно из сладких чувств.

Лишь дед долгое время молчал. Каждый раз, когда Гриша приезжал теперь в деревню, дед оглядывал его раненую голову и отворачивался. Так было, пока не сняли повязку и не стало окончательно ясно, что капитаном Флинтон ему не бывать. Тогда впервые дед усмехнулся от вида его двуцветного – белое и розовое – лица и позвал с собой на рыбалку.

Рыбалок было две – близкая и далекая. До второй нужно было идти несколько километров по полям, потом по лесной тропе, пока не мелькало сквозь деревья озеро с шаманским каким-то названием – Шаньгема. Там рыбачили серьезно, ставили сети и катиски⁷, удочки же брали с собой больше для забавы. До рыбалки близкой было метров двести. Достаточно обойти соседский дом, а всего их на хуторе четыре, как открывалась большая запруда на ручье. Сделанная вручную из множества мелких и крупных камней, она служила для купания и ловли мелких окуней. При желании их можно было натаскать на хорошую уху. Взрослые здесь ловили редко, в основном кружила стайка быстрых, как окуни, деревенских мальчишек.

Гриша удивился, что дед повел его сюда. Он забрался на хлипкие мостки, размотал удочку. Дед стоял на берегу. Прямо перед мостками бурлила сильная злая струя. Справа был чистый песчаный пляжик, слева простиралась заросшая редкой травой болотина. Небольшая, но очень неприятная на вид. Легкое зловоние сочилось от ее поверхности, глубины никто не знал и мерить не решался. Гриша несколько раз забросил удочку. Поплавок быстро проносился по струе перед ним. Не клевало. Всё равно он внимательно смотрел на воду, и не заметил, как дед оказался рядом на мостках. Когда увидел – было поздно. Дед легонько подтолкнул его, и мальчик ухнул в жидкую грязь. Та чавкнула и стала холодно и жадно засасывать его. Грудь сковал ужас. Не смея крикнуть, он в ужасе смотрел на деда и медленно погружался. Ноги вяло и тщетно месили грязь, ноги искали опоры. Едкое зловоние поднималось вместе с пузырями с глубины и пережимало горло. Гриша тонул молча. Дед тоже молчал. Наконец мерзкая жижа достигла груди, ноги уперлись в дно. Было оно илистым, но держало. Дед еще постоял немного, потом протянул сильную руку и легко вытащил Гришу за шиворот из болота.

На чистом песчаном берегу рыдал грязный мальчик. Он захлебывался слезами от пережитого страха, от обиды, от предательства. Рядом сидел и говорил старый его дед. Он говорил долго, как никогда раньше:

⁷ Катиска – карельская ловушка для рыбы, сделанная из металлической сетки. Имеет «крыло», куда рыба упирается, заходит внутрь и не может выйти.

– Ты смотри, ты баловался, хулиганил. Тебе было интересно. Я понимаю. Но что случилось. Ладно, сам пострадал. А вдруг пожар. Вдруг малышом бы сжег. А, залётка, не подумал об этом? А надо думать. Всегда надо. Жизнь сама задач назадает, нужно готовым быть. Всегда начеку.

Дед помолчал, потом усмехнулся одними глазами:

– Ульнешь в няшу⁸ – не отмоешься потом.

Гриша уже перестал плакать. Дед был прав. С обидой смешался стыд. Он хотел как-нибудь оправдаться и не мог, слова не шли из горла. Дед еще раз глянул ему прямо в глаза:

– Ладно, иди искупайся. Я пока одежду простирну.

⁸ Ульнуть в няшу – увязнуть в тине, болоте, грязи (поморск.). («Словарь живого поморского языка» Ивана Дурова.)

2005, р. Афанасия, р. Поной

Поначалу река была спокойной, неторопливой, и мы легко выгребали против течения. Настолько легко, что было время, чтобы посмотреть окрест и думать про путь. Потому что ничего нет слаще и тревожнее, чем думать про путь, особенно в начале его. Ведь только в дороге ты по-настоящему свободен и честен перед Богом и собой. В любых других обстоятельствах зависимость от людских схем гнет тебя к земле. И лишь беря на себя всю радость бремени за дорогу к жизни или смерти, имея над головой всего лишь небо, а под ногами только землю или воду, ты становишься господином себе. И помочь тебе может лишь нательный крест, а помешать – лишь былые неправды. Всё остальное – в руках, разуме и душе твоей. В дороге ты чист, и потому силен и уязвим. Но это жизнь, достойная того, чтобы попробовать ее на вкус и запах.

Медленно протекали мимо нас берега. Заросли карликовой березки сменялись открытыми пространствами моховых болот. Иногда внезапно возникали песчаные отмели, и на них были видны следы оленьих стад. Тихо было вокруг. Моросил мелкий дождь. Из рта шел пар. Был конец июня.

Берега текли медленно, а потом остановились. И потихоньку пошли назад. Одновременно с этим послышался шум. Я очнулся от благородных мыслей и увидел, что, пока мечтал, речка изменилась. Она стала быстрой. Впереди был слышен первый порог.

Я вообще сильно рассчитывал на Володю. Еще бы – спортсмен, хотя и в прошлом. Шесть литров легких и клубок тяжелых мышц. Вдвоем мы многое могли пройти. Я рассчитывал еще на нескольких людей. Они собирались идти со мной, у них были лодки, ружья, умение и отвага. Я полгода заманивал их на Поной, обещая золотые горы, несметную рыбу, красоты и воспоминания. Они соглашались, кивали, сжимали в руках оружие и готовы были все. Пока не подошло время пути. Один за другим, словно недозревшие обмороженные почки с дерева, отваливались от пути герои и рыбаки. По разным причинам – семейным, бытовым, другим. Я думаю, их просто испугал путь. Он действительно был непростым.

Последним отпочковался друг мой Конев. Полгода он собирался, а кончился в последний день перед отъездом. «Внезапно заболела язва. Я не пойду», – и все слова. Ни сожаления, ни извинения. По-женски как-то отвалился Конев, сделал кувырок через голову и был таков. Остались мы с Володей одни. И теперь гребем изо всех сил, а вдвоем тяжело, еще бы человечка в помощь. Речка бурлит, совсем ускорила резко, сменила спокойный нор. Того и гляди – снесет обратно в озеро.

Еле выгребли на берег. Перед самым порогом тихая заводь была, с водоворотиком небольшим, туда-то мы и нырнули. Выскочил я на берег, байдарку подтянул. Вылез и Володя. Как-то не очень быстро он осваивается. Хотя что с человека степного взять в условиях далекого Севера. Я сам точно так же какую-нибудь лошадь упустил бы на волю, как Володя байдарку. Хорошо, шкерт на носу привязан был, за него еле схватиться успели, когда она плавно и свободно уже готовилась без нас уйти в одиночное плавание. Остались бы без еды и снаряжения в самом начале.

Но красиво кругом так, что руки сами быстро-быстро работу делают – костер, палатка там, а голова вертится отдельно, красоту эту через глаза, уши и ноздри впитывая. Порог речной шумит, лес зеленью свежей глаза ласкает. И только высокие синие тундры, облитые сметаной снежников, сурово висят над головой. И кажется – постоянно смотрят, наблюдают за тобой. Словно ты коммунист – сам маленький, а совесть у тебя огромная.

Володю я легко в поход заманил. Он человек хороший, но забавный. Решил почему-то, что самое интересное в мире – это древние индейцы. Какой-то в детстве комплекс у него сфор-

мировался. И вот эти индейцы у него везде – в голове, в сердце и в глазах, больших и вечно удивленных. Ацтеки, майя, Кецалькоатль и прочие радости. Он даже книжку об этом написал, фантастические рассказы про индейцев, как они всё предвидят и способствуют. Поэтому ему было достаточно лишь фотографии Праудедков показать, скал, что в пойме Поноя расположены. А скалы действительно замечательные. Фигуры сидящих великанов, фантастические животные, горбоносые профили с перьями на макушке – бальзам для фантаста. Вот Володя и кинулся в северный поход за южным знанием. А знание – оно вне земной географии. География души человеческой – вот оно где.

Утром встали – лагерь собирать неохота. Быстро человек к любому месту прикипает. Даже палатка в одну ночь домом родным становится. Да и как иначе, когда на улице дождь и температура плюс три. Пар изо рта валит, сапоги мокрые, хорошо – комаров и мошки пока нет, холодно им еще. Ну и потряхивает, конечно, от детского ужаса перед собой – куда черт несет?

Я, когда дома собираться начал, всё не мог понять: что меня сюда ведет – то ли промысел божий, то ли бесы манят. Фотографии смотрю здешних мест – красота такая, что страшно. Стал людей искать, чтобы помочь смогли, – легко как-то всё получается. Один, другой, третий, общие знакомые находятся, в интернете совсем со стороны люди – и все помогают, ведут радостно. Очень я доволен сначала был. А потом насторожился слегка. Если всё слишком хорошо – что-то не так. Это одно из моих основных знаний о жизни в родной стране. Чуйка моя.

Есть, правда, напиток волшебный, который переводит страх в мужество. Называется – спирт этиловый разведенный. Позавтракали мы с Володей им да тушенкой с макаронами и бодро так собрались – опять на многое готовы, красавцы и герои. Всё в байдарку уложили красиво и плотно. И пошли. Только теперь уже первый этап пути закончился. Тот, когда сидишь на лодочке да веслами помахиваешь, на природу любуясь. Бечева началась. И кусты.

Бечева легче волока. Но не намного. На волоке всё на себе тащишь. Тут же вещи все в байдарке. А ты ее по воде за носовой шкерт тащишь. Она легко идет, если течение небыстрое, да берег пологий, да тропинка по нему, – идешь гуляючи, цветы нюхаешь попутно. А тут пороги, да кусты непролазные, да речонка стала уж больно бойкой. Байдарка то и дело в кусты носом упирается, выдираешь ее оттуда с хрустом. Сами березки даром что карликовые – метров до двух ростом, да переплетенные все, словно волосы кудрявой девчонки после ночи искренней любви.

Приспособились кое-как. Я впереди байдарку тащу, через березы продираясь. Володя сзади с веслом, отталкивает ее от берега вовремя, чтобы в зарослях не путалась. Бодро сначала пошли, сил в избытке. Дождь нипочем, холод побоку – ромша⁹ идет. Полог походный натягивали, только когда ливень сплошной начинался, а так – вперед, через ухабы. Правда, когда первый раз за собой плеск громкий услышал, испугался сильно. Но виду не подал, подумал – рыба большая. Обернулся – а это Володя веслом промахнулся мимо борта да во весь свой рост плюхнулся в воду. Даром, что ли, чемпион по плаванию. Это первый раз было. А потом уж я оборачиваться перестал. То ли от усталости, то ли от ужаса, но Володя всё чаще и чаще в воду падал. Бродни воды полные, мокрый весь, но идет, держится. Привалы мы часа через три устраивали, когда совсем неумоготу становилось ноги на высоту плеч задирать, чтобы сквозь заросли проломиться. Костерок маленький под тентом зажжешь, чайку согреешь да плеснешь туда – пун-шик, как поморы говорили. И снова в путь.

Сначала мы бодриться пытались. Песню вспомнили про кустового кенгуру Скиппи, из далекого детского фильма. Вот и шли, порой чуть не вприсядку. «Скиппи, – поёшь, – Скиппи, Скиппи из э буш кангуру-у-у». Так первый день прошел. Лагерь на стоянке с костровищем сде-

⁹ Ромша – ватага, обоз («Словарь живого поморского языка» Ивана Дурова.)

лали. Тент, палатка, костер и отсутствие ног. Носки мокрые Володя пытался высушить горячими камнями из костра. Да тщетно. Дождь так и не кончился.

2003, г. Петрозаводск

Не очень давно, лет двадцать тому назад, по земле бродили неисчислимые толпы уфологов. Это были такие специальные существа, которые верили, что прилетают иногда инопланетяне и забирают людей с собой куда-нибудь. Сейчас уфологов практически не встретишь. Видимо, всех их всё-таки забрали с собой те, в кого они так истово верили. Всё это очень таинственно. Судьба деда хранила в себе не меньше загадок, – так рассуждал Гриша. Времени прошло много, уж многих не было в живых, но вопросы не заживали, ныли, как ноют, наверно, железные осколки в теле, – гнилые, ржавые крючья болезненных воспоминаний. Во-первых, никто не знал, откуда дед родом. Сам он не рассказывал ничего. Вроде бы приехал в Карелию откуда-то из средней полосы России, чуть не от границы с Белоруссией. Были там какие-то родственники, сестры. Но что странно – фамилия всех тех родственников была Гришаевы. И лишь у одного ребенка в многочисленной семье она была другая. Как такое возможно – не понимал Гриша и терялся в догадках, как снегирь в ранних весенних днях. Сам он тоже был Николаев, отец его был Николаев, на деде же всё обрывалось. Он был первый из Николаевых, как первочеловек, перед ним была пустота.

Всю жизнь после службы дед прожил в карельской деревне. Но отличался от своих соседей всем. Внешностью – не было в нем этой широкой, улыбочивой лукавины – мол, знаю, что обманете, поэтому сам похитрю, которая так мощно прорезана на лицах коренных карелов. Никак не подходил он и под общепринятое мнение, что «пьяный карел страшнее танка», пил не много, во хмелю бывал тих и задумчив, зато по трезвой не по нем беде мог становиться страшен и безумен, как будто боль душевная нутро рвала настолько, что выплеснуть ее – единственный способ выжить. Не похож был и язык его – чистый и правильный, без единого сбоя, распева и туманной протяжности, которыми местные, давно обрусевшие жители всё же отличались от коренных русаков, невольно приоткрывая свою укромную финно-угорскую сущность. Слова же, поговорки, которые то и дело походя бросал дед, Гриша не слышал больше нигде, ни на юге страны, ни на западе, ни на востоке.

Так и мучился порой, догадываясь, но не зная смысла, пока не решил однажды заглянуть в далевский словарь, где и нашел все дедовы жемчужины с неременной скобкой (устар.) после них.

Дед молчал, хрипел, кашлял, умирал. Молчала и бабка. При жизни деда тихая, после смерти его она стала любить застолья, где пела наконец-то на карельском, которого не знал никто из детей и внуков, полюбила и водочку. И не жалела ни о чем, и перед смертью от страшного костного рака Грише сказала – хоть немножко подышала под конец. Но и тогда о деде ничего не рассказала, ни почему он был на пенсии размером с воробьиный хвост, ни почему, не дожидаясь похорон, пришли к ним в дом какие-то люди и забрали дедовы награды, все до одной, наперечет, по списку. «Вот такие мы, Николаевы-нидвораевы», – это был последний раз, когда Гриша ее видел.

* * *

Нет ничего в мире красивее, чем берег Белого моря. Словно медленный сладкий яд вливается в душу любого, увидевшего это светло-белесое небо, эту прозрачную, как из родника, воду. Это серое каменное щелье, покорно подставляющее волнам свое пологое тело и благодарно принимающее лестную ласку воды. Эти громыхающие пляжи, усыпанные сплошь арешником – круглым камнем, который море катает беспрестанно, шутит с ним, играет, и в результате – несмолкаемый ни на минуту грохот, и думаешь невольно – ну и шутки у тебя, батюшко. Эти подводные царства, колышущийся рай, пронизанный солнцем, как светлый женский ситец – весенним взглядом. Этот легкий ветер с запахом неземной, водной свежести и отваги, и каждый знает теперь – что такое свежесть и отвага. Этот пряный шум соснового леса, и удирающий от берега трусливый бурый зверь, кисельно плескающий жирным огузком. Эта радость бескрайней дороги, свободного пути к жизни, к счастью, к смерти...

Нет в мире ничего страшнее, чем берег Белого моря. Бесстыжими пощечинами наотмашь бьет в лицо холодный ветер, несущий злые брызги дрызг и неудач. Мутная вода орет в глаза и душу о скором хаосе и бесполезности всего. До горизонта стлань полей из черной вязкой грязи – и если в няшу ступишь, будет сложно жить. По берегам – кресты огромные и серые, как напояненье. В лесах – кресты поменьше и поплоче, стыдливо прячущиеся в сырых лощинах. Безлюдие, забвение потомков. Седая мутность илистых одонков. И лишь зук кричит просительно и жалобно, вставая на крыло – уйди, уйди. Наверно, так кричит ребенок, не знающий еще – чужая злость непоправимой может сделать жизнь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.